

18+

Н А Р О Д Н Ы Й Ж У Р Н А Л



РОМАН №14 ГАЗЕТА

Александр Попов / Взрыв

90
лет





ПОПОВ Александр Владимирович

родился в 1953 году во Владимирской области. Окончил редакторский факультет (отделение книговедения) Московского полиграфического института. Служил в Советской Армии. Работал корреспондентом «Комсомольской правды», «Огонька», заместителем главного редактора исторического журнала «Родина», заместителем генерального директора «Литературной газеты», шеф-редактором журнала «Союзное государство», главным редактором интернет-изданий. Лауреат премии журналов «Наш современник», «Огонёк». Живет в Москве.

Павел Рыженко: судьба художника и «Судьба Державы»

Впервые о творчестве выдающегося русского художника Павла Викторовича РЫЖЕНКО (1970–2014) «Роман-газета» рассказывала в 2005 году. Тогда в № 23 под рубрикой «Лики России» был напечатан очерк Ольги Орловой «Вера без дел мертва...».

В № 3 нашего юбилейного года в оформлении исторического повествования Святослава Рыбаса «Заговор» мы представили живопись Павла Рыженко из его каталога «Империя в последней войне», а также биографию мастера.

Этой весной в Выставочном комплексе Московского академического лицея при Российской Академии художеств блистательно прошла персональная выставка исторических работ художника «ГОЛГОФА РУССКОГО САМОДЕРЖАНИЯ».

К выставке был приурочен выпуск нового каталога картин, ранее представленных на прошлогодней выставке в галерее Народного художника РФ Дмитрия Белюкина «Царская башня».

В солидном, хорошо изданном альбоме «СУДЬБА ДЕРЖАВЫ» картины отца впервые сопровождает небольшими историческими эссе Тихон Павлович Рыженко.



Сергий. 2003 г.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ
И ДОСТАВКИ АЛЬБОМОВ
уточняйте по телефону
+ 7 (903) 718-39-45
или по почте
pvgallery@yandex.ru.

Окончание см. на 3 стр. обложки.



Н А Р О Д Н Ы Й Ж У Р Н А Л

РОМАН-ГАЗЕТА

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «РОМАН-ГАЗЕТА»

ЖУРНАЛ ЗАРЕГИСТРИРОВАН В КОМИТЕТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПЕЧАТИ. СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ №013639 от 31 МАЯ 1995 г.

Учредитель и издатель
ООО «Роман-газета»

Главный редактор
Юрий Козлов

Редакционная
коллегия:

Дмитрий Белюкин
Юрий Бондарев
Семен Борзунов
Алексей Варламов
Анатолий Заболоцкий
Юрий Коннов
Владимир Личутин
Юрий Поляков

Ответственный
редактор
Елена Русакова

В оформлении
использована
картина
Павла Рыженко
«Суздаль»

Права
на использование
товарного знака
«Роман-газета»
принадлежат
ООО «Роман-газета»
© ООО «Роман-газета», 2017
Все права защищены

Подписаться
на журнал «Роман-газета»
можно в отделениях связи
и через Интернет:
www.gazety.ru

Подписные
индексы издания:

в каталоге агентства
«Роспечать»
70782 на полугодие,
71752 на год;

в объединенном
каталоге

«Пресса России»
38915 на полугодие;

в электронном каталоге
«Почта России»
П1526 на полугодие

Точка зрения автора может
не совпадать с позицией
редакции

2017 №14 /1786/ Основана в 1927 г.

Александр Попов

Взрыв

Повесть

«Несложно понять, что жизнь определяется кумулятивным эффектом ряда значительных потрясений. Логика Черного лебедя делает то, чего вы не знаете, гораздо более важным, чем то, что вы знаете. Ведь если вдуматься, то многие Черные лебеди явились в мир и потрясли его именно потому, что их никто не ждал».

Нассим Талеб. «Черный лебедь»

1

Все началось с неожиданного визита Алексея Малькова. Он заявился ко мне, как в популярных сериалах об успешных дельцах новейшего времени, на огромном черном джипе, дорого одетый, солидный, уверенный в себе господин. Замечу, в самое удобное для меня время. Ни рано, ни поздно, — словно подглядывал или подслушивал, — когда я, отзавтракав почти в полдень, — в родном гнезде, каюсь, встаю поздно, — прилег было с книжкой на раскладушке в нашем старом запущенном саду, посаженном еще моим дедом. Он зашел во двор, цепко охватив своими рыже-коричневыми, с мелкими белыми вкраплениями, как оперенье у ястреба, глазами мое небогатое обиталище и с порога, как будто мы и не расставались на добрых три десятка лет, сделал мне предложение, от которого — опять же, как говорили в известной киносаге — было невозможно отказаться.

Но прежде о самом Алексее Малькове, Лехе (как стало принято почему-то произносить это доброе, ласковое имя в русской среде), моем, можно сказать, приятеле еще со школьной скамьи. Мы учились с ним в одной школе, правда, в параллельных классах. Что-то нас сближало и тянуло друг к другу однозначно. Хотя до старших классов мы не знали, росли, что называется, на разных площадках. Я в старой черте города, у реки, где город собственно с незапамятных времен и начинался, выбираваясь широкой, застроенной старыми особняками (ампирными подсушенными подсолнухами отцветают до сих пор), улицей вверх по высокому правому берегу к площади. До известных событий начала прошлого века это была Дворянская улица. Я жил по соседству с Дворянской среди также сохранившихся до наших дней, вросших в землю немереной силищей, двухэтажных купеческих домов и лабазов. В этой части нашего древнего Свободоярска издавна обитала публика пограмотнее, почище, поукорененнее. Леха рос в новом микрорайоне, в так называемых Черемушках, куда в пятиэтажные, пыльно-легковесные панельки во второй половине шестидесятых прихлынула волна сельского люда из «неперспективных» окрестных деревень и многочисленных итээрцев, прибывших на в одночасье начавшихся строиться «номерные» заводы — «почтовые ящики», как их звали в городе. Я рос в семье школьных учителей второго поколения. Родители Лехи работали инженерами на споро,

как по щучьему велению, возведенных, тех самых закрытых «почтовых ящиках».

Задружились мы с Лехой, как я уже говорил, только в десятом классе. Сближение началось так стремительно, как стремительно могут сближаться, или становиться непримиримыми врагами, подростки, почуявшие каждый за собой лидерские качества. Без излишней позы скажу, что в своем десятом «А» признанным интеллектуалом был я. Леха на голову превосходил всех в десятом «Б». Пользуясь своими неожиданно открывшимися возможностями, я мог блеснуть, разумеется в дозированных объемах и в «правильной» интерпретации, познаниями, мало кому ведомыми тогда. Скажу так, мне нечаянно открылись, как с неба, имена Розанова, Мережковского, Гиппиус, Ницше, Бердяева, Соловьева... Страшно сказать, я даже осилил тогда «Волю к власти» Ницше. Пусть не все понимая, но все это я читал тогда, улавливая, что это нечто... как сказали бы сейчас, круто... Так что я чувствовал себя вполне авторитетно, рассказывая о жизни, скажем так, другой, спрятанной, закрытой. Дореволюционной, словом. Леха, надо заметить, давал мне фору, что называется в дне сегодняшнем. Он иногда подпускал такие оценки того, что происходило на самом верху, рассказывал такое, что не вешали даже по «голосам», что мне становилось жутковато. Не знаю почему, но политики я как-то интуитивно сторонился. Возможно, сыграл свою роль отец своими страшными рассказами, как прихватили, правда, потом отпустили, после войны деда, учителя естественных наук, за какое-то неверное слово о генетике на педсовете в школе. Как дед за какие-то полгода пребывания ТАМ превратился в развалину, не смог уже работать, на глазах чахнул, успел, правда, разобраться со старым садом, уже не родящим, посадил новый и в одночасье умер, не дожив до шестидесяти...

Но молодость доверчива, и с Лехой встречаться было интересно. Местом наших встреч был каким-то чудом уцелевший, довольно протяженный, километра в полтора-два, городской крепостной вал. «Тут кроме земляных, ни одного жучка», — говорил обычно Леха, когда мы поднимались на высокий гребень мощного оборонительного сооружения, где в густой траве всегда была натоптана местными влюбленными тропинка. «При чем тут жучки?» — спрашивал я. Леха покровительственно выпячивал свою и без того внушительную, тяжелую, какую-то неандертальскую нижнюю челюсть, снисходительно поглаживал меня сверху вниз рыже-коричневыми ястребиными глазами и, глумливо озираясь, нарочито понижая голос до шепота, рассказывал о подслушивающих устройствах, расставленных в нашем городке, по его словам, повсюду, чуть ли не в общественных туалетах. «Откуда знаешь?» — снова задавал вопрос я, закипая от Лехиной снисходительности и покровительственного тона. «Так у меня же родители инженеры, на военном заводе пашут... они же эти штучки и делают!» — напускал важности Леха. — А потом, —

добавлял он, хитро прощупывая меня взглядом, — есть один человек... он знает все».

Вот так мы и гуляли, самолюбиво меряясь всезнайством и начитанностью, касаясь дерзко с юношеской легкостью материй сложных и непростых, но проявляя, как мне всегда казалось, друг к другу какое-то странное недоверие и осторожность. Я напускал форсу размышлениями о декадансе, Серебряном веке, распаде придворной элиты, всеобщей зараженности революционными идеями, безделью и мягкотелости последнего царя. Леха опять же, снисходительно посмеиваясь, разворачивал мои повествования, как зеркало, к нашей действительности, и я с ужасом обнаруживал многое похожим. Я не мог взять в толк, как это у него так ловко получается, но это умение, если так можно сказать, мне сильно не нравилось. Не нравилось, что он мог так ехидно подкусить в любой обсуждаемой теме какую-то очень важную жилку, что все распадалось и, самым неожиданным образом осмеянное, приобретало какой-то окарикатуренный, опошленный смысл.

Ловок был Леха, энергичен и наступателен во всем. Выше среднего роста, был весь словно сплетенный из мышц. На стадионе не было ему равных в беге, прыжках в высоту, подтягивании на турнике, игре в футбол. Помнится, он пробовал учить меня владеть мячом, поскольку футболисты почему-то всегда нравятся красивым девушкам. А для нас обоих успех у девушек, непременно красивых, был чем-то непреложно-обязательным в развитии неординарной личности, к коим мы себя, не признаваясь открыто, однозначно относили... Главное, говорил он, в игре, на поле, не поддаваться эмоциям, сохранять хладнокровие, все делать продуманно и неожиданно, постоянно перемещаться, обманывая ложными движениями противника, у чужих ворот, будучи с мячом, выбрать позицию без силуэта соперника по курсу и прицельно пробить так, будто тебе в носок бутсы залили свинец, тогда мяч, как из пушки, точно пойдет куда ты захочешь. При ударе нога должна превращаться в свинцовую биту, и мяч подвластен тебе, как по уши влюбленная в тебя девушка, разъясняя Леха. На последних словах он как-то особенно начинал подсмеиваться, и покровительственная снисходительность так и перла из него. Но, как я ни старался представить при ударе по мячу, что моя нога превращается в какое-то подобие железного рычага, ничего у меня не получалось. У Лехи же мяч пробивал самые глухие стенки и самых ловких вратарей. Поэтому по нему сохли самые красивые старшеклассницы и поэтому его покровительственная снисходительность ко мне становилась все невыносимее. К исходу десятого класса, перед поступлением в институт, моя дружба с Лехой предсказуемо завяла.

После школы наши дороги разошлись окончательно. Я поступил в Москве в университет на факультет журналистики. Печататься начал еще с класса восьмого в «Уголке краеведа» нашей «Зорьки».

Так звали у нас в обиходе районную газету «Заря коммунизма». Мальков тоже в столице стал неожиданно студентом строительного института. Хотя в период нашей дружбы он не раз говорил, что мечтает быть только гуманитарием. Тут-то и выяснилось, как простодушно и даже с гордостью рассказала мне родственница Лехи, которую я случайно встретил в электричке, что протолкнул Малькова в институт практически вне конкурса его родной дядя, ходивший, оказывается, в Москве в больших чинах.

Московская стихия захватила каждого из нас стремительно и повлекла по своим рукам и течением. С первых же курсов я пристроился в центральную газету и тут уже мне было не до одноклассников. Карьера моя складывалась как-то очень буднично и ровно, если мое профессиональное становление можно было вообще назвать карьерой. Мне, беспартийному, серьезных постов не предлагали. Но простым корреспондентом брали везде охотно. Перепробовав немало редакций и специализаций, я остановился на культурной ниве. Писал о музеях и театрах, премьерах и дебютах, книжных новинках, выставках, актерах и писателях. Незаметно вошел и стал своим в пестром, переливающимся разными красками и оттенками мире так называемых творческих людей. Ни к каким политическим, идеологическим течениям, которыми так богата российская творящая публика, не примыкал. Что и обернулось, как показало время, мне только во благо. Когда рухнул советский строй, я нисколько не потерял. Как писал, так и продолжал пописывать статейки на темы культуры. И даже более того, стал зарабатывать приличнее. Многие прежние светила закатывались в небытие и, чтобы не погаснуть окончательно, охотно платили редакции за рекламные заметки. Ну, а о восходящих звездах, рвущихся к популярности и деньгам, и говорить не приходилось. Они последнее отдавали ради нескольких строчек в большой газете. Шоу-бизнес стремительно набирал обороты. Правда, тут я должен оговориться, брал я только свой процент, о суммах и передачах денежных средств болели головы доверенных лиц кумиров публики и редакционных рекламных агентов. Я писал и визировал тексты, финансовая сторона дела меня не касалась. Таинственный, мистически-катакомбный мир денег, как и политика, меня пугал и отвращал от себя.

О Малькове же изредка доходило, что после института он стремительно пошел в гору. Стал чуть ли не замом градоначальника по строительству. Опять же, говорили, благодаря дяде, который после распада Союза только набирал вес в кремлевской администрации, в которой оказался благодаря близости с первым президентом, когда того в годы чрезмерного фрондерства турнули с партийного олимпа в главное строительное ведомство страны. Там-то Лехин дядя, оказывается, и работал всегда на не последних должностях. С будущим первым президентом, а тогда задвинутым опальным партийным функционером, он,

как невнятно докатывалось до меня, сошелся без страха и упрека, подставил, так сказать, плечо в трудную минуту. Будущий первый президент оценил отважного чиновника и воздал должное, когда воцарился в кремлевских палатах. Потом, я слышал, Леха Мальков попал в немилость к большому начальству, будучи напрямую замешанным в политической истории, точнее, как поговаривают, в ее тайной, какой-то законспирированной части, когда его шеф-градоначальник попытался вскарабкаться на вершину российской власти. Дядя, говорят, был в ярости, орал на Леху, что у того, мол, совсем отсутствует политическое чутье, и заставил его от греха подальше убраться из Москвы. Так Леха неожиданно снова появился в родном городе. На малой родине не пропал, быстренько открыл строительную фирму и весьма преуспел, слыл долларовым миллионером. Тут уж мы совсем перестали друг друга признавать. Сытый голодному не товарищ... И вот вдруг этот странный, неожиданный визит.

Леха как ни в чем не бывало, будто мы расстались только вчера, предложил мне поддержать через прессу, — оказывается, он следил за моим «творчеством на культурном фронте», — восстановление храм-часовни, поставленной более ста лет назад на месте сгоревшего древнего скита, основанного чуть ли не одним из учеников Сергия Радонежского.

— Так она же в запретке! — удивился я.

— В этом-то все и дело, — отвечал Мальков, — тут через такие бюрократические чащобы пробираться надо, что без шумихи в СМИ не обойтись. А дело правое. Восстановим памятник архитектуры, откроем храм, где солдатики будут приобщаться, так сказать, святых тайн, — почему-то усмехнулся он.

— А кто будет заниматься непосредственно восстановлением? Денег потребуется немерено. Насколько я слышал, часовню эту уже давно сровняли с землей.

— Я и буду заниматься, — пружинисто, как в юности, заходил-затанцевал вокруг меня Леха. — У меня сейчас целая бригада мастеров, от скуки на все руки... и денег хватает. А то, что сровняли с землей... Так мы уже провели предварительное обследование — фундамент целехонький, даже подвальное помещение сохранилось, только землей немного засыпано, почисть и воздвигай по новой. Главное, разрешение пробить. Поможешь?

Я замялся. Помочь благому начинанию — дело благородное. Но что-то смущало в напористости Лехи, в его какой-то агрессивной нахрапистости, нарочито подчеркиваемой благотворительности. «Бизнесмен, — подумал я, — набрался наглости, везде пальцы веером...»

— А как удалось... обследовать часовню? — вдруг вынырнуло во мне. — И почему именно эта часовня?

— Да есть там... свои люди, — махнул рукой Леха в сторону Заречья, — попросили... Ты что, сомневаешься?

— Непросто будет... — почему-то тянул с ответом я.

Золотой крестик часовни еще до начала восьмидесятых влекуше поблескивал на закате солнца в таинственных лесах Заречья. Картина с нашего высокого берега, где стоял родительский дом, очаровывала, пьянила меня с детства. Синеющие лесные дали и одинокая искорка блещущего золотом крестика, как напоминание о какой-то иной, сказочной, иставшей во времени России... Особенно остро переживалась невозвратность чего-то волшебного и прекрасного, когда свет крестика истончался, затухал в сумерках, а я, уже будучи подростком, возвращался в дом, включал настольную лампу и пристраивался в кресло с какими-нибудь «Поучениями Тихона Задонского»...

Я представил, что крестик засияет вновь, и неожиданно согласился.

— Ну, вот и славно, — заулыбался Мальков. — На традициях Россия держится. И мы никому не позволим их нарушать, — подмигнул он. — Еще в историю войдешь... ну, в плане, — хмыкнул он, — что золотыми буквами твое имя на доске попечителей, типа информационных, будет выгравировано, когда часовню открывать будем... Через пару деньков загляну, ты все прикинь, поговорим детально. Кстати, — бросил он как бы мимоходом, когда уходил со двора, — берлога твоя на один бок заваливается. Надо бы фундамент подкачать, да и вообще подремонтировать родимое гнездо. Я пришлю молодцов.

На следующий день, снова ни поздно, ни рано, когда я, напившись чаю, принялся выкашивать траву в саду (мне не понравилось, как насмешливо заиграл глазами Леха, когда воззрился на лопухи и крапиву между деревьями), к дому подкатил тяжело груженный рафик. Трое молодцов, — иначе о них и не скажешь (вспомнилось словечко Малькова), — в одинаковых желто-синих комбинезонах, одинаково рослые и крепкие, как из инкубатора, стали сноровисто и ловко заносить во двор мешки с цементом, упакованные в целлофан пластмассовые рейки, какие-то металлические заготовки, кирпич, инструменты. Один, видимо старший, в усах с проседью, поздоровавшись, деловито осведомился, из какой комнаты лучше вывести электричество на улицу.

— Вы кто? — опешил я.

— Нас прислал Алексей Константиныч, сказал, что надо укрепить у вас фундамент, выровнять дом, обшить сайдингом, пристроить веранду, сделать по ремонту, на что укажете, — четко доложил Усатый.

— Да какое он имеет право, ваш Алексей Константиныч! — сорвался вдруг я. Мысль о грубом подкупе буквально взорвала меня.

— Как скажешь, хозяин! — буднично буркнул Усатый и стал тыкать пальцем в кнопки мобильного телефона.

— Ваш друг не понимает, зачем мы приехали, — сказал он в телефон и протянул трубку мне.

— Кирилл, — услышал я голос Лехи, — ты чего там волну гонишь? Это не взятка, это дружеский жест, мне это ничего не стоит. А недельки за две мои

архаровцы превратят твое бунгало в приличное жилье. Тебе не стыдно так жить, столичный журналист?! Ты посмотри, что рядом с тобой деется, какие дворцы вдоль речки гоношат... Всё, всё! Какие, однако, мы ежики! — с легкой, аккуратной насмешливостью увещевал он. — Через два дня я у тебя, думай, как будем часовню из праха поднимать.

Он отключился, я, остывая, пожал плечами и протянул телефон Усатому.

— Ух, какой у вас вид открывается, — сказал он, вглядываясь в Заречье, — красота... Хотите, мы беседку в саду поставим, будете сидеть, чаек попивать, любоваться... а если еще бинокль прихватить! — Он мечтательно поцокал языком.

— Раньше смотреть в бинокль в ту сторону запрещали, — сказал я, — по крайней мере, негласно.

— Сейчас смотри, сколько влезет, — ответил Усатый, — только что увидишь, там все под землей.

— Приходилось бывать?

— Нет, — на секунду замешкавшись, скупое бросил Усатый, — рассказывают... Ну, показывайте дом... начнем с фундамента, с подвала, значит.

По массивным известняковым плитам, за столетия отполированным ногами до гладкости яичной скорлупы, по промятой временем в камне дорожке спустились в подвальное помещение. Под сводчатыми, красного кирпича, потолками было просторно, гулко и сухо. Удивительно сухо и до странности свежо и не пыльно, словно гигантский компрессор день и ночь работал по очистке воздуха в подвале. Я это еще подростком заметил, когда по разрешению отца начал разгребать там вековой мусор. Я мечтал тогда создать музыкальную группу (по обвальнй моде тех лет брэнчал на гитаре, пел под Высоцкого, слушал затертые записи «Битлов» на катушечном магнитофоне), а репетиции, потом, возможно, и концерты, проводить в подвале. И акустика прекрасная, и не мешаем никому, и человек до пятидесяти запросто могли вместить пространства под домом. Полгода, не меньше, я положил на расчистку подвала. Вот тогда-то и обнаружил под завалами разнокалиберного барахла вместительный деревянный ларь, забитый подшивками «Нового времени», «Речи», иллюстрированных приложений к «Ниве», томами Соловьева, Мережковского, Бердяева, Розанова, Нилуса, Ницше, Шопенгауэра, сотнями тоненьких книжечек, народных изданий «Житий...». Эта находка потрясла меня. Отец преподавал историю в школе, и я уже кое-что понимал в книгах, и не только. Дома на полках стоял послевоенный Ключевский, Платонов, Сергей Соловьев, разрозненные томики дореволюционного Карамзина... Отец пришел в ярость, когда узнал, что я читаю в подвале. Но, проведя самую тщательную ревизию находки, успокоился. Реквизировав только Ницше, Нилуса, Меньшикова и с десятков брошюр по национальному вопросу, он разрешил мне, как ни странно, читать все остальное, не по-педагогически, правда, замечив, что, мол, мало что пойму, но для юношеского

тщеславия, особенно если попаду в институт, будет весьма полезно. И за это вспоминаю я отца всегда с особенной теплотой и уважением. Царствие ему Небесное! Понимал человека...

— Э, да тут не подвал, а целое бомбоубежище, ядерный взрыв можно пережить. — Усатый оглядывал стены, выложенные огромными, грубо тесанными валунами, которые до сих пор в изобилии разбросаны по берегам нашей речки. — Давно владеете хорами? — сделал он рукой полукруг над головой.

— Дед купил в начале тридцатых, — отвечал я.

— А до вас тут кто жил, в смысле, когда поставили дом?

— Насколько знаю, дом принадлежал какому-то почтенному старому роду священников, Смирновы, кажется, была их фамилия... Они тут жили чуть ли не с семнадцатого века... и дом они построили.

— Вот я и смотрю, капитально, на века, сработано, — одобрительно похлопал ладонью по серым спицам валунов Усатый. — Интересно, — добавил он, мазнув в разных местах пальцами по стенам, — пыли совсем нет.

— Давно замечено, — сказал я, — как вы думаете, почему?

— Тяга, очень хорошая тяга... тут и нужна лишь тонкая струйка, но постоянная, — ответил Усатый, с особенным вниманием оглядывая помещение.

— Тяга? — удивился я. — Здесь нет ни одной вытяжки, кроме вечно закупоренного слухового окна.

— Возможно, секрет какой-то есть, старые мастера умели... — с деланным равнодушием, как мне показалось, пожал плечами Усатый. И неожиданно перевел стрелки разговора: — Так, значит, Смирновы были, говорите, эти священники?

— По-моему, так. А что?

— Да, так, ничего... наверно, просто совпадение, — отвечал Усатый, извлекая из сумки через плечо уровень и прикладывая его к полу. — Ну, вот, так я и думал, эта сторона к реке капитально просела... горка подмывается, тут может по крупнице всего за год, а за три века дом все-таки повело.

— И что делать?

— Надо бить шурфы под фундамент, жидкий бетон заливать...

— Не навредим? Как бы чего не стронуть... стоит себе и стоит, тронешь — развалится, — обеспокоился я.

— Не волнуйтесь, мы с этой стороны углы еще поддомкратим и свод стальными швелерами укрепим... сделаем как надо. Еще пятьсот лет хибара простоят.

После подвала осмотрели низенький цокольный этаж — подклеть, как говорили в старину, наметили, от какой розетки через форточку будет выведено электричество на улицу, чтобы подключить циркулярку; по деревянной, в два пролета, довольно крутой лестнице поднялись на второй, жилой этаж дома. Что-то меня цапнуло в разговоре с Усатым, и я напрягся — что?

— Неплохо жили эти священники Смирновы... даже по современным меркам, — сказал Усатый, когда мы после осмотра дома решили (жадность какая-то на дармовщинку все-таки проснулась во мне) обить его изнутри вагонкой, снаружи обшить сайдингом и пустить вдоль цокольного этажа круговую веранду. И тут меня словно осенило:

— А о каком совпадении вы намекали?

— Да так, ерунда, — пробовал отмахнуться Усатый, — я предлагаю светло-зеленый, почти салатный сайдинг... У вас тут все в зелени, светло-зеленый хорошо впишется.

— Нет, и все-таки? — клещом впился я.

— Ну, в общем, тут, — как бы нехотя сказал Усатый, — словом, в монастыре появился где-то месяца два-три назад новый старец... Нектарием зовут, говорят, из-за границы приехал, из Америки... и еще он, якобы, здешний...

— И что? — екнуло у меня сердце.

— Да ничего! — усмехнулся Усатый и как-то вкрадчиво добавил: — Слышал, как это у них, у монахов, говорят, в миру он был Андрей Смирнов.

«Осведомленный мастеровой», — подумал я и, не скрывая любопытства, спросил:

— И сколько ему?

— Рассказывают, древний уже дедушка... под девяносто, — как-то испытующе посмотрел на меня Усатый и отвязанно-бодро спросил: — Так какой вы бираем сайдинг? Мы привезли образцы — розовый, светло-зеленый, желтый... какой?

— Мы же договорились — светло-зеленый, — механически ответил я и подумал: зачем он мне все это рассказал? Ведь явно с каким-то смыслом.

Усатый с самым невозмутимым, впрочем, очень довольным выражением на лице, отошел к напарникам. К своему удовольствию, я заметил, что никто из них не курит. А один, когда мы осматривали дом, легко и играючи покрутился на турнике, сделанном еще моим отцом между двумя липами перед крыльцом.

Посовещавшись с коллегами и созвонившись, как я понял, с Мальковым, Усатый объявил мне, что они приступают к работе немедленно.

— Хозяин отвел на все про все две недели. А работа в подвале... — скорчил кислую гримасу он, — аховая... Стены, думали, кирпичные, а они оказались из речных валунов. Попробуй пробуй их тут!

Может, и не надо начинать всю эту канитель, подумал было снова сказать я, но воздержался — время для отказа было упущено, ломакой выглядеть в глазах Лехи и рабочих мне показалось не солидным. Все эти улыбочки, усмешечки, памятная Лехина снисходительность — нет, уж увольте, будь что будет!

— Начинайте, коли так. А я пойду прогуляюсь. — Неожиданный план созрел у меня, и я почти в нетерпении заспешил со двора.

Между старыми яблонями, высаженными по теплоту, солнечному склону косогора, на котором стоял наш дом, по едва заметной тропинке, натеренной только мной, я спустился к реке, где меня поджидала

на отмели лодка, привязанная цепью к вбитой в песок железной трубе. Летом, когда мне приходилось бывать здесь в отпуске, я брал себе за правило ежедневно ходить на веслах по нашей тихой, всегда ласковой и светлой речке. С годами начал, как и все люди, физически себя практически не утруждающие, грузнеть, заплывать жирком. Месяц упорных на лодке выправлял меня, я чувствовал себя попроворнее, появлялись мышцы, пропадал животик.

Невеликая речка наша имела причудливое название Богана. В просторечии ее коротко звали Боганка. Почему ее так называли? Думаю, из-за красоты и благолепия здешних мест. С высоких холмов по правому берегу, поросших золотыми мачтовыми соснами, открывались, как я уже говорил, волшебные дали безбрежного леса на левом, низком берегу реки. У многих здесь, думается, открывались сердца Богу. Не случайно лет семьсот назад на одном из таких холмов завился монастырек, который разросся потом и снискал к середине позапрошлого века поистине всенародную любовь, превратившись, по выражению одного из Отцов Церкви, в «духовную санаторию многих израненных душ». От города монастырь стоял километрах в трех вниз по течению Боганки.

Вот до него-то я и решил в тот день доплыть.

Вниз по течению моя небольшая дюралевая лодочка, сработанная на заказ умельцами на одном из военных заводов еще в советские времена, скользила как по маслу. Изредка днище с сухим шуршанием царапало о речной песок. Речка явно мелела. Но все равно она была еще в своих естественных берегах и кротко несла свои чистые струи, как и сотни лет назад, куда-то на юг, через малые и большие реки к синему морю. А вот прибрежный ландшафт менялся на глазах. Я давно не был в этой части Боганки (обычно для большей нагрузки на мышцы ходил против течения, в верховья реки) и поразился, как буйно облепили ее красный, правый берег роскошные особняки, окруженные высокими заборами. Выхватывались лучшие куски: среди сосен, участок непременно до самой воды. Вспомнились рассказы о золотом дожде, обрушившемся на главу местной районной администрации — заполучить землю под строительство дачи здесь стоило недешево.

Но вот река начала плавно уходить влево, выгнулась кудрявой от деревьев и кустарника зеленой дугой, затем снова взяла вправо, и на открывшемся полуострове разом выросли, как суровые витязи в чистом поле, сторожевые башни нашего прославленного монастыря.

Надо отдать должное стараниям и чувству красоты монастырских насельников. Крутой склон холма, на котором осанисто и живописно расположились храмы и постройки монастыря, со стороны реки был чисто, как под бритву, выкошен. Вверх к монастырским стенам вела тропинка-лесенка, выложенная недорогой, но прочной плиткой. Солнце клонилось уже к западу, и на теневой, восточной, стороне холма короткая отава отливала сочным, изумрудным блес-

ком. Чистоту, благость и покой разливало святое место вокруг себя...

Сторож, молодой инок, с редкой, просвечивающейся бородкой, учтиво предупредил меня на входе, что до закрытия монастыря осталось полчаса. Я справился, как мне отыскать старца Нектария. Выяснилось, что старец в отъезде.

— В Москву отбыл, — сказал монашек, внимательно заглядывая мне в глаза. И не без некоторой гордости, словно на что-то решившись, добавил: — К Его Святейшеству уехал... будет дня через три.

Я поблагодарил и испросил разрешение погулять по монастырскому двору. «Однако старец этот не простой, если его принимает патриарх», — думал я, прогуливаясь среди отцветающих розовых кустов, обильно высаженных по всему периметру монастыря. «И это хорошо, что сегодня мы не встретились, это добрый знак, иначе как бы я объяснил желание встретиться с ним, тем только, что меня распирало любопытство узнать, не из наших ли он Смирновых? Но это же глупо и наивно. Значит, не время...»

Колокол пробил к вечерне, я поспешил к выходу. У монастырских ворот, прощаясь со сторожем, почему-то сунул тому в руку с просьбой передать старцу, как-то помимо воли, свою визитную карточку.

— Не извольте беспокоиться, все будет исполнено, — словно из девятнадцатого века ответил в поклоне монашек, коротко взглянув на визитку.

Через два дня, как и договаривались, меня вновь посетил Леха Мальков. На сей раз он приехал к вечеру, был чем-то сильно озабочен и, едва поздоровавшись, в каком-то нетерпении предложил осмотреть «фронт работ». Меня это озадачило, я ожидал, что речь прежде всего пойдет о часовне. Но Леха так и рвался в подвал.

А там шел дым коромыслом. Рабочие в респираторах орудовали отбойными молотками, шуршала и чмокала серым месивом в своей круглой утробе бетономешалка, нестерпимо ярко высвечивала темные углы подвала электросварка. Леха, сопровождаемый Усатым, нервно заходил вдоль стен, как-то особенно внимательно разглядывая и изредка колукая пальцем швы между серыми глыбами валунов. У одного, овальной формы и чуть ли не в рост человека, на мгновение задержался и бросил быстрый, незаметный взгляд на Усатого. Тот практически неувлимым движением головы утвердительно кивнул.

— Какой великан, матерый человечище, — с особенной лаской погладил камень Леха, — скольких трудов стоило обтесать тебя, приладить сюда! Ты представляешь, Кирилл, — сразу повеселев, обратился он ко мне, — точно такими же валунами обложен подвал разрушенной часовни. О чем это говорит? — сказал он, как-то странно разулыбавшись в сторону Усатого. Тот напряженно замер. — А о том, что наши предки умели пользоваться подручным, местным материалом, не то что мы — все тянем из-за границы, — с нарочитой назидательностью закон-

чил Леха. Усатый, показалось, выдохнул. — Ну, как твой план по раскрутке проекта, готов? — бодро спросил меня Леха.

— Пойдем, потолкуем, — кивнул я вверх.

— Минуту, — сказал Леха, словно спохватившись, — на какую глубину бьем шурфы, цемента хватает? — задал он вопрос Усатому.

— Глубины разные, в среднем до полутора-двух метров, — отвечал тот, со значением взглядывая на Малькова, — бетон, крепеж не жалеем.

— Не затягивайте, у вас две недели, не больше... впереди гособъект, — многозначительно бросил Усатому Леха уже с подвальных ступенек.

— Пойдем на вал, прогуляемся... молодость вспомним, — неожиданно предложил он, когда мы вышли во двор.

— Хорошая идея, — согласился я.

— Только ты мобильник дома оставь, — усмехнувшись, сказал Леха.

— Там, кроме земляных, ни одного жучка, — подхватил я.

Леха одобрительно хмыкнул:

— Все помнишь...

Странная, какая-то разнеженная, теплая доверительность долго не покидала нас в ту более чем двухчасовую прогулку по древнему валу, старому городу, памятным местам детства и юности. Мальков с удовольствием рассказывал о себе, о двух уже взрослых дочках, оставшихся в Москве, расспрашивал меня о моей жизни. О политике (что меня, признаюсь, насторожило) речь практически не заходила. Только один раз, коснувшись неудачной попытки вхождения в верховную власть его бывшего шефа, у него вырвалось что-то похожее на «реванш еще будет», но он быстро поправился и ловко перевел разговор на что-то другое. Суждения его были умны и взвешенны, даже осторожны. От юношеского радикализма, казалось, и следа не осталось. Изменился сильно Леха и внешне. Встречаются люди, о которых говорят, что их жизнь не берет. Они узнаваемы и в тридцать, и в пятьдесят, естественно с поправкой либо на усыхание, либо на прибавление в фигуре. Таких при встрече почему-то хочется радостно обнять и расцеловать. «Вот, думаешь, этот прожил светло и праведно, и лик его не тронули «свинцовые мерзости жизни». О Малькове, с его лицом, можно было сказать, что его жизнь буквально переформатировала. Такая во всем его облике, на челе, появилась угрюмоватость и решительная непроницаемость, что при встрече с ним, я думаю, многие, наверное, начинали испытывать беспричинное беспокойство и даже страх. К тому же он решительно раздался в плечах, как-то весь заматерел, обрюзг. Коротко стриженный, с чрезмерно развитой нижней челюстью, Леха чем-то напоминал известных субъектов из «лихих девяностых», не хватало только спортивных штанов и кожаной куртки. Словом, я бы его не сразу признал, встретив случайно на улице. Хотя, быть может, по глазам... По этим странным, цвета ястребиного оперенья, глазам,

по-прежнему смотревшими с какой-то острой нагловатинкой, я бы его все-таки вспомнил. От прежнего Лехи Малькова остались неизменными только пружинистость и ловкость в движениях, и, как мне показалось, сила и выносливость, по крайней мере, сколько я ни прислушивался к Лехиному дыханию, когда мы карабкались на вал, я не услышал тех глубоких одышливых вздохов, которым было подвержено уже большинство наших сверстников.

Мальков в целом одобрил мои предложения по раскрутке идеи восстановления часовни. Ему пришла по вкусу мысль, что должны быть задействованы все уровни информационной машины — от нашей районной «Зорьки» (к слову, после падения Советской власти «Зарю коммунизма», словно, прислушавшись наконец к народной традиции все сокращать и спрямлять, безжалостно усекли до «Зари») до ряда центральных, или, как теперь говорят, федеральных, изданий. После более чем тридцатилетней практики у меня везде были свои люди. Да и Леха, надо отдать ему должное, проявил довольно тонкое познание в особенностях медиа-рынка. Два или три предложения он решительно отверг по идеологическим соображениям. Публикация, например, в оппозиционной «Свежей газете» могла вызвать негативную реакцию в «главной администрации, а дальше по всей цепочке до Минобороны и патриархии», заметка в консервативном «Полдне» — насторожить чутких либералов в правительственных кругах. Остановились на ряде солидных нейтралов.

«И еще, — насмешливо (не утерпел-таки) посмотрел на меня Леха, — можешь смело обещать, статьи будут не за так», — он обозначил в довольно приличных суммах вознаграждение (в зависимости от объема публикации, — и здесь он знал толк) за «писательский» труд. Как-то особенно Леху заинтересовала, я бы даже сказал — взволновала, мысль привлечь начальника пресс-службы одной из палат парламента, моего давнего приятеля Мишу Васильева.

— И давно ты его знаешь? — так и засверлил меня глазами Леха.

Я отвечал, что еще со студенческой скамьи.

— Интересно, очень интересно, — по-боксерски пружинисто заходил вокруг меня Леха, — и что, он... близок к спикеру?

— Не знаю, — насторожился я, — папку с пресс-релизами носит шефу каждое утро. А что?

— Отлично, — пропустил мимо ушей мой вопрос Леха и умело сбавил обороты: — «шеф» может и наше письмо в Минобороны, так сказать, подписать... не подпишет — даст поручение профильному комитету. — Отлично, — уже как-то задумчиво повторил он, — а я-то все думал, как покруче зайти на войак... Слушай, старик, а ты не можешь его, ну, этого, своего приятеля, пригласить сюда? Шашлык, рыбалка, охота — все организуем!

— Почему бы и нет, — меня напрягло странное волнение Лехи. — А что военные? Почему они сами не хлопчут? — неожиданно вырвалось у меня.

— Хлопочут, — поморщился Леха, — но там надо получить столько допусков, что без возгонки общественного мнения вряд ли что получится.

— Но и все же, может, нам встретиться с командиром части, объединить усилия? — не унимался я.

— Да с ним уже все проговорено... но ему просто некогда заниматься этим делом, — заелозил Леха.

— Нет, все-таки неплохо бы лично с ним познакомиться, — продолжал гнуть я свою линию.

— Ты это серьезно? — надулся вдруг Леха и посмотрел на меня как на маленького, — он практически засекреченный, на встречу с ним требуется спецразрешение. Кто тебе его даст?! Ты по наркоматам замучаешься бегать!

— Но ведь тебе-то как-то удалось... если «все проговорено», — подловил я Леху.

— Тут особый случай, — попытался отмахнуться Леха, — об этом как-нибудь потом...

— Какая-то здесь невнятица... От кого исходит инициатива восстановить часовню? — решительно надавил я на Леху.

— От вояк, естественно, от вояк, — начал злиться, сдерживая себя, Леха. — Ну что ты пристал? Какая теперь разница, тут дело надо делать!

Я решил не портить встречу и отстал с расспросами. На этом мы в тот вечер и расстались. У меня осталось странное ощущение, что Леха темнит, не все раскрывает карты. С ним надо осторожно, помнится, решил я тогда. В то же время я почувствовал, что завязывается интрига, не сулящая, возможно, ничего хорошего, но которая, несмотря на все мутные, опасливые предчувствия, тем не менее интересна мне, вбирает меня в себя, будит азарт охотника. Вот природа нашего человека, знает, что может получить, но упрямо лезет в драку!

2

На следующий день я заставил себя встать пораньше, где-то около восьми. Еще с вечера наметил прозвониться наиболее доверенным московским писателем, связаться с Мишей Васильевым (с утра их еще можно было всех застать на работе) и, если позволят время и обстоятельства, забежать потом в нашу «Зорьку». Впрочем, поспать бы мне все равно не дали, у дома уже сноровисто орудовали, перетаскивая из машины мешки с цементом, трое моих ремонтников. «Сколько же они бетона вбухивают в подвал, — отметил я, наблюдая за их четкими, ритмичными движениями со своего второго этажа, — а как деликатно и бережно обращаются с мешками... Леха, похоже, суровый хозяин, вышколил работяг».

Но вот у меня дело с утра не задавалось, большинство конфиденентов были либо в отпусках, либо чрезмерно перегреты уже спозаранку работой и слушать не желали про какую-то часовню. С ними, похоже, предстояло поработать индивидуально. А это означало — ехать в Москву, окунуться в московскую суету, встречаться, перетирать, выпивать... Я же за

лето в родном городке привыкал к вольности, неторопливой размеренности и, как это ни покажется странным, трезвому образу жизни... пить тут было просто не с кем. И это меня несказанно радовало... Зато повезло мне с Мишей Васильевым. Он был на месте и откликнулся на мой звонок (видимо, посещение с утренними пресс-релизами своего влиятельного шефа было гладким и бесконфликтным) весьма приветливо, можно сказать, даже тепло.

Надо отдать Мише должное, взлетев по карьерной лестнице достаточно высоко, он не прерывал дружбы с однокурсниками, не заносился, более того, всегда был отзывчив и участлив хотя бы на словах. И не только на словах. Меня он даже как-то включил в журналистский пул, и я за так слетал с его начальником в Киргизию. Сам же Миша предпочитал только дальнее зарубежье. Злые языки утверждали из-за разницы (в сторону увеличения) суточных, которые, естественно, практически не тратились (везде халява, сэр) и оседали в карманах удачливых командированных. К такому сладкому пирогу Миша подпускал только избранных, тех, кто был ему в чем-то так или иначе полезен. Но мы, все те, кто остался по жизни без чинов и регалий, на него не обижались. Он был прагматиком. Всегда. В отличие от нас, мечтающих о журналистской славе и ринувшихся завоевывать центральные, непременно только центральные, издания, Миша нырнул, как все мы дружно решили, в унылый отстойник пресс-службы Министерства торговли. А вынырнул, однако, через несколько лет уже во «Внешторге». Потом он надолго растворился где-то за границей. Затем его видели снова в Москве на собственной роскошной иномарке, что по советским временам было чем-то фантастически прекрасным и недостижимым и что стало предметом долгих пересудов между бывшими сокурсниками.

Тогда и прошел слух, что Миша дружит с известной конторой и что дружба эта, начавшаяся чуть ли не со студенческой скамьи, дает теперь реальные плоды. Не знаю, что там было у Миши с этой конторой, но я в это не верил. Вспоминая наши буйные студенческие сходки в общежитии, где проживал я и неизменным участником которых был всегда и москвич Миша Васильев, я часто думал потом, как это нам все безнаказанно сходило с рук. Под обильное пиво с селедкой и горячей картошечкой, да с черным свежим хлебушком (сытно, пьяно и по студенческому карману), говорилось иногда такое, рассказывались политические анекдоты такие, что нас можно было смело замечать за антисоветизм и подрыв всяческих устоев. Но нас никто не трогал, и мы шалили, точнее, шалели от юношеского максимализма, агрессивного всезнайства и состоятельности в остроумии. Вот тут-то и был востребован ларь из подвала родного дома, точнее, его содержимое. Я блистал цитатами из Розанова и Мережковского и с особой теплотой вспоминал отца с его словами об интеллектуальном удовлетворении в соответствующей, располагающей среде... Миша тоже отрывался на наших посиделках

по полной. Он завоевал почетное место большого знатока западноевропейской философии. Часто восседал за стаканом с пивом с томиком синенького Камю, изданного тогда каким-то невероятным образом у нас, или таинственно извлекал из портфеля со сломанным замком (который он поэтому всегда носил под мышкой) перепечатанный на машинке, полуподпольно переплетенный и оформленный в дерматиновые обложки философский «тамиздат». Так что Миша был свой в доску. Не доверять ему не было причин. Только раз, когда речь зашла о тридцать седьмом и выяснилось, что в нашей компании были далеко не только у меня пострадавшие, Миша вдруг обронил (я так понимаю, несдержанно воспламенившись желанием сострить) странную фразу: «Ваши деды сидели, а мои охраняли».

Признаться, я до сих пор не ведаю, кто у Миши были родители. На курсе все знали, что он сирота, живет с братом-близнецом, который учится в военном училище. Да и сам Миша был, кажется, из суворовцев. Вспоминаю, точно, на первом курсе он щеголял в черной гимнастерке суворовского училища. Кто охранял, какая система, тех, кто оказался по ту сторону колючей проволоки, я уже вполне понимал, даже будучи желторотым студентом. Так что неудачная Мишина шутка (пусть будет так) наводила меня на определенные размышления... Система эта, таинственная и вязкая, часто и детей, и внуков не впрямую, так косвенно цепляет. Но это все, как говорится, плод воспаленного воображения. Поводов сомневаться в искренности и порядочности Миши Васильева у меня по жизни не было.

В постсоветский период Миша был замечен уже в мидовских структурах. А затем плавно перетек в парламент, когда место председателя одной из палат занял человек, близкий к министру иностранных дел. Рассказывали, что Васильев особо не разбогател, но был, как говорили, и не бедный человек. Я вспомнил об этом, когда во время нашего телефонного разговора Миша как бы невзначай обронил, что сам собирался мне позвонить.

— Хочешь предложить в Париж с твоим шефом слетать? — пошутил я.

— Париж, что ж ты молчишь... — пропел в ответ Миша, — нет, вопрос прозаичнее... и сложнее, чем просто слетать в Париж... В общем, я слышал, что ваши места по красоте не уступят любой Европе...

— Есть такое, — отвечал я, почему-то сразу раскусив, куда клонит Миша, — москвич так и прет.

— Я всегда говорил, что ты у нас на курсе самый сообразительный, — подхватил шуточный тон Миша, — и почему ты все в корреспондентах бегаешь?

— Поместийцем обзавестись вознамерился? — оставил я без ответа Мишину шпильку, мне было важно заарканить его как можно быстрее. Я уже чувствовал ответственность перед Лехой и затеянным делом. Моя добросовестность мне всегда вредила.

— В корень зришь... Надоело на десяти сотках, окруженным заборами и чуткими соседями, где даже

пукнуть громко нельзя, — начал паясничать Миша, — хочется раздолья, живописных далей... хочется старость встретить в просторном обустроенном доме с участком в полгектара, на нетронутой природе... но и близко к цивилизации.

— Приезжай, пока тут все не расхватали, — грубо закинул крючок я.

— Расхватывают? И почему? — живо отреагировал Миша.

С оговоркой, что слышал это от своего приятеля, местного строителя (имелся в виду Мальков), я назвал стоимость сотки земли на нашем правобережье среди сосен.

— Круто, — сказал Миша раздумчиво. Я услышал, как он забарабанил по кнопкам калькулятора, и, судя по последовавшему вопросу: — А что это за строитель? Профессиональный? — Похоже, деньжата у Миши действительно водились.

— Профессиональнее не бывает, — как можно убедительнее отвечал я, — с высшим, московским, специальным образованием... владелец серьезной строительной фирмы. Он, к слову, и берется за восстановление храма-часовни.

— А вот это уже интересно, — заглотив, как мне показалось, наживку прагматик Миша. — С часовней, я думаю, все решаемое... реставрация храма, традиции — шеф любит такие вещи... — скороговоркой проговорил он, — впрочем, детали при встрече... надеюсь, — выделил он голосом, — с участием твоего чудо-девелопера.

Договорились, что Миша будет у меня уже в ближайшую субботу.

А день-то все-таки начинался удачно. Я не утерпел и похвастался по мобильному Лехе.

— Кирилл, ты гений! — закричал он в трубку. — Если б ты знал, что ты совершил!.. Сегодня у нас что? Среда? Еще два дня... Надо срочно пересечься, обмозговать, как будем встречать дорогого гостя. Ну, ты орел! Через двадцать минут я у тебя.

Пришлось соврать Лехе, что я уже вышел из дома на встречу с Никоноровым в «Зорьке».

— Привет ему, давно не виделись... Говорят, в последнее время циклопическими идеями ворожат, старый фурийерист, — не скрывая иронии, сказал Леха и предложил увидеться завтра с утра пораньше. На том и порешили.

Взбодренный удачей с Мишей Васильевым, я сделал несколько звонков по второму кругу в московские редакции. И вот, что называется, пошло так пошло. Везде я оказывался к месту и ко времени. То ли солидное вознаграждение, обещанное Лехой, то ли правильно подобранные слова, которые произносил я, но все мои сотоварищи, заматеревшие на «джинсе», выказали вдруг самый горячий интерес к восстановлению какой-то неведомой им часовни. Каждому обещано было выслать уже к вечеру необходимые исходники, и каждый обещал протолкнуть материал на полосу без предоплаты. Такое бывало

редко. И, боясь спугнуть удачу, я решительно засобирился к Никонорову в «Зорьку».

Я не стал ему даже предварительно звонить, настолько почему-то был уверен, что застану старика на рабочем месте. Свои первые заметки по истории города, о затейливых окрестных топонимах, всякого рода любопытных персонах, заплетенных в историю края (скажем, о Грозном царе, любившем, якобы, рубить головы опальным боярам в нашем городке; отсюда и название), о чем мне частично рассказывал отец, что я частично вылавливал самостоятельно в тех же книжках и брошюрах из подвального ларя, я начал приносить, еще будучи школьником, в «Зорьку», в отдел культуры, возглавляемый в ту пору Феодосием Никоноровым. Уже тогда казалось, что он днюет и ночует в своем захламленном, плохо проветриваемом, с детский кулачок, кабинетике.

Меня он сразу приветил, взял под личную опеку, всячески поощряя к газетному делу. Ну, а когда я пробился в центральные издания, гордился как своим учеником. Мне это не раз передавали. А почему бы и нет? По крайней мере, выстраивать материал, находить точное слово, править — первые азы этой довольно специфической механики мне преподавал Феодосий Павлович Никоноров. До меня доходили слухи, что в браке он был неудачлив, с сыном у него тоже отношения не сложились. Был он, судя по всему, очень одинок и со странностями. Рассказывают, разработал теорию удлинения суток. В результате чего спал то ли по три часа в сутки, то ли совсем не спал по трое суток, выкраивая стыковые паузы для сна по тридцать минут каждые восемь часов...

Словом, что-то в этом роде он изобретал и экспериментировал на себе, производя впечатление смешного чудака. А между тем человек он был весьма неординарный. Интеллектуал, всезнайка, читал пропасть всякой литературы, неплохо рисовал, фотографировал, увлекался театром, говорили, пишет роман. Впрочем, о писательской славе, как я теперь понимаю, мечтал, наверное, каждый второй сотрудник «Зорьки». И каждый второй, догадываюсь, что-то писал эпохальное в стол. Никоноров был по-своему слишком умен и ироничен, чтобы опуститься до банальных признаний, что он пишет эдакое... Какие могут родиться писатели в незатейливо строчкогонной районке! Видимо, поэтому ревнивые сослуживцы и Феодосия Павловича решили тоже «замарать» «писательством». Впрочем, может быть, и действительно, что-то писал. Он, помнится, иногда озадачивал меня, подростка, отвлеченными и какими-то невнятно-затуманенными размышлениями о новом методе написания современного романа, о «синтезе образа и мысли», как он говорил, напуская на себя смешную важность и солидность разработчика и носителя гениальной идеи, еще не оцененной человечеством. Но, как говорится, литературных трудов его в руках я не держал. Поэтому ничего определенного тут сказать не могу. А вот то, что дано ему было передавать красками краски мира на холсте, знаю во-

очию. Одна очень недурная работа, сделанная маслом, пейзаж с чудным видом нашего древнего монастыря, до сих пор висит в моей московской квартире.

И театром он увлекался всерьез. Какого чудака заставишь отправиться на спектакль в Москву на электричке (два с половиной часа в один конец), чтобы на электричке же и вернуться глубоко за полночь в Свободяжск? Чтобы ездить нашими ночными электричками, надо обладать подготовкой и бесстрашием спецназовца. Или любить театр, как Никоноров. Зато «утонченно рафинированные» и сплошь «интеллигентные» свободяжцы уже через день могли насладиться развернутой рецензией на премьеру в каком-нибудь модном столичном театре. «Кому это надо здесь?» — не удержался, спросил я как-то Феодосия Павловича. «Никому, кроме меня, и, может быть, тешу себя надеждой, какой-нибудь молоденькой восторженной дуручке, мечтающей о славе на театральных подмостках». «Тогда зачем все это вам?» — недоумевал я. «Театр — это два часа особого забвения, — неожиданно самым серьезным тоном сказал тогда мне, всего лишь старшекласснику, Никоноров, — а оно так иногда необходимо человеку... Театр — это мистерия, сгусток энергий перевоплощения. А отсюда, театр — это особое, волшебное зеркало». «И что показывает это зеркало?» — спросил я. «Показывает, что начался тонкий демонтаж...», — улыбнулся Никоноров. «Демонтаж чего?» «Всего!» — помнится, грустно сказал тогда мой старший товарищ. Этот разговор состоялся, если мне не изменяет память, в самом начале перестройки... Смешной-то он смешной, и чудака, конечно, Феодосий Павлович, но было в нем что-то такое, что всегда заставляло уважать и даже чтить старика.

Позже, когда я уехал учиться, да и когда уже работал, мне случалось изредка встречаться с Феодосием Павловичем, но это бывало уже у него дома, в угрюмоватой, донельзя запущенной однушке старого холостяка, где кроме книг на стеллажах до потолка стояли еще кровать с белыми, никелированными дужками, письменный стол, расшатанный, «венский» стул и два засаленных, продавленных кресла — настоящей норе спартанца-отшельника. Встречи эти носили характер мимолетный, случайный. Так, когда приходила нечаянно мысль справиться о его житье-бытье по телефону, он с неизменной приветливостью отвечал приглашением «проведать старика». И я проводывал. Иногда заглядывал и он ко мне в Москву, чаще по необходимости, когда отменяли ночные электрички на Свободяжск.

Любовь к театру у Феодосия Павловича с годами не ослабевала. Правда, без прежней взаимности — билеты в храм Мельпомены становились все дороже и неподъемнее для постсоветского интеллигента — наши встречи случались все реже и реже.

Не виделись мы, прикидывал я по дороге в редакцию, года полтора-два, не меньше. А между тем до меня доходило, что в старости он пошел по карьерной лестнице вверх, стал ответственным секретарем

«Зорьки». Видно, с молодыми кадрами в газетке было совсем плохо.

«Зорька» была на старом месте. Так же занимала ладный, в шесть окон наперед, с крыльцом чугуного литья, купеческий особнячок в глубине дворов старой части города, минутах в десяти ходьбы от центральной площади. Все, казалось, было, как и прежде, здесь, но, увы, уже с изрядной поправкой на сломное постсоветское время... В просторном, с дубовым паркетом коридоре не сновали с гранками озабоченные, задушенные табачным дымом уездные трудяги-бумагомаратели, не раздавался грозный рык споткнувшегося на досадной ошибке редактора, не стучали машинки, не мучился в творческом пароксизме, нервно расхаживая из угла в угол, «наговаривая» сто мучительных строк в номер, юноша бледный со взором горящим... Редакции на прежнем месте не было, нет, она была, но она была перенесена в небольшой закуток в самом конце коридора. Пробираясь пришлось среди многочисленных выгородок и пластмассовых закутков, напоминающих душевые кабинки, откуда из-за приспущенных жалюзи с вызовом и тоской смотрели на мир в плохом неоновом освещении худосочно-зеленые, как долларové бумажки, многочисленные, как-то рано увядшие, коммерсанты и менеджеры. Миновав «Ксерокс», «Фото», «Турагентство», «Юридические услуги», «Дипломы. Аттестаты. Трудовые книжки», «Страхование авто», «Ремонт ноутбуков», я остановился перед железной решеткой. Нажав кнопку звонка на панели кодового замка, дождался появления опрятной, вполне еще бодрой старушки, отомкнувшей пластиковой картой изнутри железную дверцу и без лишних вопросов проводившей меня к Феодосию Павловичу.

На сей раз, хотя и не виделись мы изрядно, Никоноров встретил меня сдержанно, я бы даже сказал, мрачно-неприветливо. «Обиделся, капризничает...» — подумал я. Да, виноват, уж что-то, а позвонить всегда ведь можно. Мне стало неловко.

— Сажу весь в решетках, в темнице сырой, — попытался пошутить я, оглядывая, опять же с решеткой на окнах, комнату Никонорова.

— Не говори, — раздраженно отвечал Феодосий Павлович, — арендатор пошел вороватый, кого тут только нет... Приходится... как-то надо выживать.

— А родная администрация? Вы же, кажется, говоря по-советски, ее орган? — спросил я, отметив про себя, что Никоноров с нашей последней встречи заметно постарел, подсух как-то лицом и в плечах заострился. «Уж не болен ли? — подумал я. — Потому и раздражительный».

— Администрация? — скривился Феодосий Павлович. — Администрация бдит... сторожит каждое слово... такой цензуры даже при коммунистах не было. А за лояльность вознаграждает щедро — денег в казне много, не скупится. Сам видишь, — саркастически хмыкнул он. — Ты что, в отпуске? — спросил он уже потеплевшим голосом. — Какими судьбами в наши палестины?

Я кратко изложил суть предложения Малькова. Феодосий Павлович задумчиво, опустив голову, чиркал что-то ручкой на бумаге. Было видно, что он совсем оплешивел и неопрятно зарос по вискам и с затылка длинными седыми волосами.

— Странно, что Мальков затевает такую шумную кампанию вокруг этой часовни... — сказал он после долгой паузы, — дело выведенного яйца не стоит.

Я тоже выразил недоумение и развел руками.

— Что-то я тут до конца не понимаю, — снова повторил Феодосий Павлович, — ведь воинской части достаточно заручиться разрешением своего непосредственного начальства, чтобы без шума и пыли поднять из праха часовню. Но тут зачем-то лезет, очень нахраписто, как подрядчик-благотворитель Леша Мальков. С чего бы это?

— Видимо, ему хочется придать всему этому действию характер общественной инициативы, засветиться как щедрому меценату и филантропу, не жалеющему денег на возрождение поруганного боготорческой властью, — стал размышлять я. — Может, он в депутаты баллотироваться хочет!

— Может, и в депутаты... — передернул худенькими плечиками Никоноров. — Леша Мальков просто так ничего не делает, очень жесткий купец окупился. Мы его как-то года два назад ремонт подряжали сделать в редакции... трубы, сантехнику, рамы поменять, все сгнило. Так он нас до нитки раздел... выжигает! И вообще, с ним надо, что-то мне подсказывает, ухо остро держать. По-моему, он какой-то неуемный честолюбец... ощущение, что на грани стоит...

Что-то меня, малодушие, что ли, остановило признаться, что Леша делает у меня дома ремонт... бесплатно. Потом я пожалел, что не рассказал об этом парадоксе Феодосию Павловичу. Может быть, старый интуитивист предусмотрел бы что-нибудь дельное, упреждающее. Но я не решился.

Никоноров внимательно посмотрел на меня. Мое замешательство он расценил по-своему.

— Ну, хорошо, я понимаю, ты обещал... Ради тебя я напишу об этой часовне... В принципе-то дело, за вычетом явно каких-то шкурных интересов Малькова, стоящее, полезное... — сказал он, как бы успокаивая меня и себя, и предложил прогуляться, заодно и пообедать где-нибудь в городе.

— И сколько вас тут осталось — бедолаг? — снова попытался пошутить я на выходе из редакции. Все-таки какой-то удрученный, заморенный вид Феодосия Павловича мне определенно не нравился.

— Вот именно — бедолаг, — усмехнулся Никоноров, — редактор, я, двое, вернее, две пишущих — одна из библиотеки пришла, вторая из школы... сам понимаешь, какой уровень, верстальщик да Анна Семеновна, она тебе дверь открывала, божий одуванчик, бухгалтер и секретарша в одном лице, — вот и вся редакция.

— Могушая кучка... И даже эти шесть ртов не может достойно прокормить местная администрация?

— Все она может, — уныло протянул Феодосий Павлович, — тут только на один праздник города уходит два наших годовых бюджета!

— Понимаю, с вами безоткатный вариант, а праздник города весело и незатейливо на шестьдесят процентов возвращается в карманы чиновников.

— Правильно все понимаешь, — снова тускло отозвался Никоноров.

— Может, помощь нужна? — осторожно спросил я.

Никоноров испытующе посмотрел на меня. Тонкая усмешливость засветилась на его исхудавшем, морщинисто-подсохшем личике.

— Помощь нужна... ты посмотри, какой разор и запустение вокруг! — неожиданно резко заговорил он. — Вот это еще советский асфальт, — пошлепал мой друг подошвой башмака по дорожке, — за двадцать пять лет новой власти он превратился в крошево. И так по всему городу... И, заметь, новый класть никто не собирается. А эти погнутые и узлом завязанные детские качели — это же какую дурную силушку надо иметь, чтобы с ними так расправиться! А эти страшные, дикие мусорные баки, которые вывозятся раз в месяц... А бурьян и лопухи, кривые, сгнившие перекладки, на которых еще советский обыватель выбивал ковры! Такого одичания, я уже семьдесят пять лет живу в городе, никогда не было!

«Неужели это его так гнетет?» — виноват, недоверчиво подумал я.

— Европейской чистотой и ухоженностью наш городок никогда не отличался.

— Согласен, до Европы нам было всегда далеко, — горячо подхватил Феодосий Павлович, — но была тенденция, тенденция на улучшение. Каждый год, — я бывал на всех этих сессиях горисполкома, цифры хорошо помню, — прибавлялось число заасфальтированных улиц, организовывались конкурсы на самый ухоженный двор, цветы и клумбы появлялись у подъездов... Да, медленно, да, по-советски неказисто, но что-то делалось, чтобы оторвать человека от привычного бытового свинства. Сейчас ноль! Никаких, даже малейших, намеков, поползновений на улучшение атмосферы бытия, которая во многом, очень во многом — надо же понять наконец, в нашей России! — отвращает человека от его животных наклонностей. Понимаешь, о чем я?!

— Ну, поправится все со временем, и асфальт положат, и цветники разобьют, — намеренно сделал вид я, что не понимаю, о чем Феодосий Павлович. Мне хотелось понять, что так зацепило старика.

— По большому счету я не об этом, — рассеянно посмотрел в мою сторону Феодосий Павлович своими странно неподвижными, всегда как бы смотрящими в какую-то свою, особую точку, серыми, слегка замутненными, словно в них шли непрерывные дожди, глазами. — Ну, посадят или снимут мелкого воришку Крошкина...

— А это кто? — не сразу понял я.

— Ну, здравствуйте, дожили! Впрочем, мы здесь больше наездами, судьба аборигенов нам неинтересна,

мы же теперь в столицах воспарили, — не удержался, подпустил мстительного ядку Никоноров, — это, батенька мой, — однако, ну и журналист пошел! — глава нашей районной администрации... редкостный, должен заметить, жулик и прохиндей... у него только семь квартир в Москве на родственников записано, трехэтажная дача тут недалеко, землей торгует направо и налево, внуку, слышал, на пятилетие скакуна породистого подарил... Но я не об этом, рано или поздно этого Крошкина сковырнут или бандиты убьют... Придет новый, может, поначалу воровать будет меньше, тогда глядишь, как ты говоришь, и асфальтик свеженький кое-где кинут, и цветничок разобьют... Но я о другом...

Феодосий Павлович замолчал, поглядывая насмешливо и с вызовом на меня.

— Да знаю я, кто тут местный главный, просто не сразу дошло. Кажется, этот Крошкин уже лет пятнадцать здесь хозяйничает? — не дал зависнуть паузе я. Мне показалось удобным именно сейчас разговаривать Феодосия Павловича.

— Да побольше, почти двадцать годков он тут у кормушки, — сердито заерзал молнией на своей заношенной, на вид довольно теплой куртке Никоноров. Погода в тот день не баловала. Лето было на исходе. Дул холодный северный ветер. — Еще при Советской власти дорос до заместителя председателя райисполкома. При демократах изловчился и пролез в главы администрации... Все они из бывших, все перекрасились, все оказались на поверку ворами и мерзавцами...

— И что же его так долго терпят? Давно пора переизбрать...

— Легко сказать... переизбрать, — иронично смерил меня взглядом Феодосий Павлович, — они тут переплелись, как крысиный король, хвостами... попробуй сковырни... за бюджетные деньги, немалые, которые они нагло разворовывают, они любого в землю живьем закопают. Такое ощущение, что они никогда не нажрут. Куда в них столько влезает! Город высосали до полумертвого состояния. Сам видишь... А что в деревне творится! Ни одного гектара не сеется и не пашется... все заросло лесом. Крестьянство убито как класс. Неперспективными становятся уже центральные усадьбы бывших совхозов, еще недавно многолюдные села... Я же знаю, достаточно поездил по ним, когда писал о сельских Домах культуры. Представить себе невозможно, но в деревне при «людоедской» Советской власти появлялись уже культработники с высшим профессиональным образованием... фортепианная музыка звучала в клубах! Невероятно! Как в дворянских гнездах когда-то... Ведь был же уровень! И с каким безразличием и презрением к народу, его душе, умышленно разорили все и омертвили... Да, да, все мертвеет — закрываются школы, почты, медпункты, Дома культуры, в деревне не осталось ни одного детского садика. И это в сердце России! И никаких даже намеков на возрождение. У меня такое

ощущение, что неперспективными скоро станут районные города!

— Ну, это вы уж слишком, — каюсь, нарочито подстегнул я разогревавшегося Феодосия Павловича.

— Слишком?! — вскричал Никоноров. — В нашем городе не осталось ни одного завода, ни одной паршивой фабрички. Все разбомбили, растащили... на полупроводниковом заводе — помнишь, закрытое предприятие было, почтовый ящик, пятнадцать тысяч человек работало — кувалдами разбабахали станки с числовым программным управлением, за валюту купленные, драгметаллы искали, все остальное на металлолом потом сдали... в цехах теперь шмотками торгуют. Местные бандиты все кинулись в бизнес, открывают супермаркеты, рынки, магазины... Занимают за взятки своими каменными сараями, похожими на тюрьмы, лучшие места. Ты пройди, посмотри, во что они превратили центр города, какая-то дикая азиатчина, лишенная даже намеков на стиль, грязный комок, сплошной шанхайчик... Вот где пульсируют сладкие соки для Крошкиных!

— Логика здесь простая, если строят и открывают магазины, значит, есть спрос, — пробросил я вскользь, — опять же занятость населения...

— Да какая тут занятость, три четверти взрослого населения ездит в Москву на заработки, каждый день по пять часов в электричках... встают в четыре, возвращаются в девять. Это же оскотинивание какое-то человека! — так и взвился Феодосий Павлович. — А то, что строят много магазинов, так кто ж против. Но почему не строят заводы, НИИ, не открывают театры — а ведь в городе был театр, и не плохой! — не сдают новые школы, больницы, детские сады? Понимаешь, нет развития, движухи, как сейчас говорят... все скукожилось и стагнирует!

Таким взбудораженно-развинченным я Феодосия Павловича еще не видел. Все в нем клокотало и пузырилось от какого-то предельного возмущения. Он размахивал руками и громко вещал об убитых надеждах, бесчеловечности, примитивизме и грубой наглости младореформаторов, тупиковости заложенной ими модели развития, по которой «мы до сих пор упрямо продолжаем движение в никуда», а «ведь Россия жаждет рывка!» — вскидывал Феодосий Павлович указательный палец правой руки вверх, — «новой великой идеи, способной одухотворить и поднять на созидательный подвиг сонные, опухшие от пьянства и безделья народные толщи»...

Прохожие нередко останавливались и глядели нам вслед, на лица многих читалось простодушное удивление — ты, смотри, как набрался старичок, и когда только успел! Так мы добрались до центральной площади, где в одном из кафе (по уверению Никонорова, самом чистом и приличном в Свободярске) собирались перекусить. Я давно не был в этой части города. Обычно, когда приезжал, с электрички домой пробирался, сокращая путь, окольными тропками и переулками. А потом засиживался, пригревался на одном месте, и ни в какой центр меня уже

не тянуло. Поэтому я был немало удивлен переменам на площади Ленина (неизменным оставался здесь только сам Ильич, по-прежнему готовый порывисто шагнуть с пьедестала и увлечь за собой массы на борьбу с эксплуататорами). Никоноров был прав — это было нечто, это был наш русский шанхайчик! Слово это в современных условиях означает что-то бесформенно-бессмысленное, уродливо-архаичное, временное, нелепое и несуразное. Курятник, одним словом, какой-то. Вот и главная площадь нашего городка превратилась в этот шанхайчик-курятник, разномастно-разношерстное торжище. Проплутав изрядно в лабиринтах ларьков, палаток, магазинчиков, именуемых бутиками и супермаркетами, мы остановились перед деревянным теремком в стиле а-ля рюс, обозначенным резной вывеской как трактир «У Вадика».

Внутри было опрятно и чисто. Стены из желтого соснового кругляка, лавки и столы тоже светлого дерева, расшитые полотенца с петухами на окнах, встретившие нас две девицы в сарафанах и кокошниках — все это пусть и отдавало какой-то нарочитой стилизацией и выспренностью, но было приятно и мило своей приветливостью, уютом и устойчивой прибранностью. Пахло свежей выпечкой.

— Тут бесподобные пироги готовят, — сказал Никоноров, широко и с удовольствием втягивая через ноздри воздух.

— Приятное местечко, — оценил я, — ведь можем же что-то!

Феодосий Павлович усмехнулся.

— Вадик Кригер, — сказал он и повторил с особой интонацией: — Кригер... Помнишь, он у нас в отделе информации работал? Хотя вряд ли. Он постарше тебя лет на пять... да и в редакции не засиживался, все по стройкам, заводам и стадионам бегал, репортажи строчил... Белокурый, румяный такой парень — классический немец, его предок из пленных австрийцев еще Первой мировой, женился здесь на русской и застрял в России... Так Вадик, когда Советская власть приказала долго жить, мясом начал приторговывать, ездил по деревням, тогда еще там скотинку держали, покупал живым весом баранов и телят, резал и продавал с хорошей наценкой. Сейчас вполне процветающий коммерсант... это заведение его. Ну, что — по сто коньяку, зелень и лангеты с жареной картошкой, — предложил Феодосий Павлович, подзывая барышню в кокошнике, — лангеты у Вадика весьма недурственно выходят, очень советую, батюшка, откусать... Так, наверное, сказали бы в трактирах Гоголя, Шмелева или Бунина, — кривовато улыбнулся Никоноров. Он хоть и успокоился внешне, но внутренне, чувствовалось, оставался все-таки каким-то намагниченным.

А лангет и впрямь оказался приличным, и картошка к нему была правильно пожаренной, и петрушка с огурцами-помидорами, укропом и кинзой не завяленной, и коньяк не разбодяженный. И подавалось все вовремя и с улыбкой.

— Слобода Кукуй какая-то, — невольно вырвалось у меня, — Кригер, он и в Африке Кригер... А наш удел, похоже, вечные шанхайчики?

— Не думаю... — с заминкой сказал Никоноров, — а сравнение, я про Кукуй, хорошее, — с ласковой грустью посмотрел он на меня, — и как тут в отчаяние не впасть... Двадцать пять лет прошло — четверть века! — как рухнул коммунизм, а жизнь все глуше и глуше, а шанхайчик все шире и шире... Меня достает одна мысль: а они там, наверху, совсем не знают, что происходит в глубинке? Или им на все наплевать, только бизнес и ничего общественного?

— Но ведь у Кригера-то получается? — уклонился я от щекотливой темы.

— Кригер один такой на шестьдесят тысяч в нашем городе, — с неохотой отвечал Феодосий Павлович, — большинство тускло лепит свой шанхайчик!

— Почему? Ведь условия одинаковые... Получается, что все дело в каких-то наших особенностях, отличиях, что ли?! — невольно заволновался я.

— Вот именно! — оживился и Никоноров. — Допускаю, что Кригер более хваткий и умелый, более способный к самоорганизации и порядку в силу каких-то национальных особенностей... рассказывают, немецкие колонисты процветали и богатели среди украинской нищеты до семнадцатого года, припеваючи жили в Поволжье... не пропали высланные даже в диких степях Казахстана, допускаю, это их национальная черта... Но мы-то другие, почему не признают наши особенности? Но нет же, нас ломают через колено... двенадцать пять лет загоняют, как презренное стадо, в так называемый рынок. Слепому уже ясно, что не проходит этот рынок у нас, отторгается он сознанием народа, чужда его душе мелкособственническая стихия. Было бы иначе, давно бы уже все закипело и забурило повсюду... Вместо этого кладбищенская тишина, унылая ляжка биологического выживания, шанхайчики... Значит, надо заканчивать этот постыдный эксперимент, искать другие подходы к душе народа, чтобы пробудить, расшевелить его на масштабные дела, иначе сгинет и развеется по ветру этот великий народ, оставит свои неоглядные пространства другим, которые рядом набирают силу и энергию. Великое духовное уныние овладело нами, потому что расставленные ориентиры и цели не возбуждают и не увлекают нас, не тревожат дух охотника и первооткрывателя.

— Мы уникальны и неповторимы, и у нас исключительно свой путь? — не удержался от подначки я.

— А почему бы и нет! И насмешливость твоя здесь неуместна! — закипел Феодосий Павлович. — Каждый человек индивидуален и самобытен, каждый уникален и неповторим. Так и народы, собираемые по непонятным признакам — общий язык, территория, быт, нравы, все это отчасти условности — в единую общность, имеют свою характерную «физиономию». Если бы все люди на Земле были одинаковы, как твердят универсалисты, то зачем тогда все

эти племена, народы, нации!? И заметь, народы не смешиваются. Они могут исчезать — умирать по «старости», их могут истреблять, пытаться растворить в себе более сильные, они могут формировать единые исторические сообщества — империи, федерации, союзы — но они живут, пока существуют две особи противоположного пола, принадлежащие к одному таинственному образованию, именуемому народом, в незримом, не поддающемся никакому объяснению поле узнаваемости друг друга и взаимного тяготения. Что это за особые метки, какие это неповторимые «запахи» — понять невозможно. Но они есть, и они определяют в каждом народе свой характер, свою психологию, свои возможности, меру ума и глубину чувствований. Все уникально в каждом человеке, все неповторимо в каждом народе.

— Допустим, вы правы, — сказала я не без интереса. В размышлениях Феодосия Павловича начало прорезываться определенное направление, признаюсь, небезразличное и мне, — допустим, у каждого народа есть свои, субъектные особенности. И какие они, по-вашему, у русского народа?

Феодосий Павлович испытующе посмотрел на меня.

— Закономерный вопрос... и бездна ответов, — пробормотал он.

— И все же... на ваш, сугубо личностный взгляд.

— Я бы... — примерился, сощуривая глаза, но и без особых ломаний Феодосий Павлович, — выделил три главные характеристики нашего народа, своего рода, три «Б», — очень уверенно сказал он. — Это... — последовала короткая, но внушительная пауза, — бескорыстие, бесстрашие, безмерность.

Никоноров вопрошающе ждал реакции. Я ответил непроницаемым молчанием. Похоже, началось самое интересное.

— Да, на мой взгляд, это три ключевые, фундаментальные особенности русского народа, определившие, точнее, веками определявшие его судьбу и историю, — не спуская с меня пристального взгляда, продолжил Феодосий Павлович. — Первородное бескорыстие, удачно подкрепленное и развитое нравственно-этическими нормами христианства, позволило нашему народу пронести свою душу через века в чистоте и незамаранности грехом стяжательства, жадности материального благополучия, поклонения золотому тельцу, что суть одно из главнейших противоречий Промыслу Божьему, его заповедям и установкам. Природа русского государства изначально мистическая, божественная... Почему оно возникло и выстояло под, казалось бы, смертельными, непоправимыми ударами, понять формально невозможно. Сказано, что Россия — это удел Бородицы, и все. Кому дано понять — поймут.

— Раздвигать границы, покорять немеренные пространства — для этого требовалось еще и бесстрашие? Понятно...

— Верно уловил, здесь у меня должен быть плавный переход ко второй составляющей русского на-

рода — бесстрашию... — спокойно отвечал Феодосий Павлович, — только напрасно иронизируешь, огрубляя мысль, под бесстрашием я понимаю не только физическое мужество и доблесть, беспредельную смелость и решительность... хотя этими качествами в высшей степени отмечен русский народ — в бою русский солдат бесстрашен и дерзок, он действительно не боится смерти, поэтому ложится на пулемет, таранит в горящем самолете вражескую колонну, кидается под танк с гранатами... Что-что, а воевать мы умеем, особенно в войнах Отечественных. И поэтому Россия стоит... Но я под бесстрашием нашего народа понимаю еще и нечто другое.

— Вы, верно, роман пишете? — почему-то участливо спросил я.

— Роман не роман, но так, кое-что... — восторжничал Никоноров, словно выныривая из забытья. — Так вот, — весь подобрравшись, решительно продолжил он, — под бесстрашием русского народа я в первую очередь понимаю его какую-то надмирную способность брать на себя миссию по воплощению в жизнь вселенских чаяний человечества по разумному, справедливому обустройству общества. Всемирная отзывчивость русского человека, по Достоевскому, привела его в начале двадцатого века к попытке построения на земле царства добра и справедливости. Это был бесстрашный эксперимент, который мог затеять только великий и бесстрашный народ.

— Это не бесстрашие, это глупость — затеять мировую авантюру, приведшую к морям крови, обессиливанию этого великого народа и, в конце концов, к позорной капитуляции перед всем остальным миром со своим «бесстрашным экспериментом»! — прервал я Феодосия Павловича.

— Набор либеральных штампов российского розлива, знакомое повизгивание хрюшек у кормушки, обеспокоенных только прибавлением собственного веса, — с досадой отмахнулся Никоноров, — «печной горшок тебе дороже, ты пищу в нем себе варишь»... извини, ничего личного... А вот взять на себя смелость — хотя бы попытаться, хотя бы попытаться! — реализовать на практике самые светлые чаяния и волшебные грезы человечества о справедливой жизни на земле — это предел бесстрашия, это подвиг во славу человечества! Дерзкие мечты лучших представителей рода человеческого о «городах солнца» берет на себя смелость воплотить в жизнь русский народ — это ли не абсолют дерзновенного бесстрашия!

— Кровавый урок безумного экспериментаторства, урок на все времена — что не надо делать нигде и никогда, — снова не выдержал я.

— Кровь... — потупился Феодосий Павлович, выводя пальчиком вензеля на столешнице, — ее пролилось тогда не больше, чем в войнах за передел мировых рынков, за «демократию» под американскими бомбами, чем в кровавых разборках при дележе общенародной собственности в девяностые, чем в межэтнических бойнях после разрушения Союза...

А что касается того, что «не надо делать нигде и никогда», так урок уже преподнесен, и его рано или поздно, только в другой форме, захотят повторить... возможно, снова у нас. Без «экспериментаторства» России не выжить.

— Не думаю, — сказал я, — сдается мне, страница построения светлого коммунистического общества закрыта навсегда.

— Должен заметить, — бесстрастно пропустил мимо ушей мою ремарку Феодосий Павлович, — я говорил о попытке построения справедливого общества, — названного в России, всего лишь названного, коммунистическим... мечту о котором человечество вряд ли растопчет в себе... Но, главное, я пытался сформулировать мысль о бесстрашии нашего народа, его вечной бесстрашной решимости брать на себя вселенские мегапроекты как сущностной доминанты в его исторической судьбе. Не будь таких сверхнапряжений у русских, они бы давно «погибоша аки обре». Ставить себе сверхзадачи — это повеление природы русского народа, особенностей его национального характера.

— Похоже, я начинаю понимать, что такое ваша «безмерность», — неожиданно с искренним интересом сказал я, — так вы, кажется, сформулировали третью, знаковую, особенность русского народа?

— Жизнь русского человека чрезвычайно, я бы сказал, до какой-то крайней точки, эмоциональна, — медленно начал говорить, словно, не замечая меня, Никоноров. — Но это вовсе не плохо, наоборот, я убежден, что это наше огромное преимущество. Эмоции бросают русского человека из крайности в крайность. Поэтому, в повседневности, скажем, только русский человек может изрубить, уничтожить, нажитую с превеликим трудом, по копейке, домашнюю утварь и мебелишку или сжечь собственный дом, который он строил десятилетиями. Поэтому только русский человек, искренне веря в Бога, боясь и страшась Божьего гнева, может крушить храмы, иконы, святыни, чтобы потом всю жизнь отмаливать грехи свои постыдные. Поэтому только русский человек, в высшей степени человек государственный, — поскольку на огромных ледяных пространствах привык надеяться, и справедливо, только на Бога и государство, как единственных спасителей и защитников, — может, взярившись на власть, уничтожить родное государство до основания, чтобы затем, надрываясь, в муках отстраивать его заново. И несть числа таким примерам нашей неумной психоэмоциональной безмерности. Вот почему, чтобы удержать русский народ в равновесии, ему необходима сверхзадача. Как встречный огонь, сверхзадача гасит сверхэмоции, бросающие нашего человека от полюса к полюсу, направляя его необузданную страсть и энергию на беспримерный по энтузиазму труд и созидание. Когда Россия в начале шестнадцатого века сформулировала для себя глобальную стратегию, то есть сверхзадачу, по превращению Москвы в «Третий Рим», народ,

напоившись смыслами этой сверхзадачи в самый короткий исторический срок переформатировал удельную чересполосицу в железный кулак централизованного государства и буквально за десятилетия увеличил свои пространства втрое, шагнув за Урал. К концу шестнадцатого века Русское государство по своим размерам стало больше всей остальной Европы, а к середине следующего века русские вышли к Тихому океану.

— Правда, при этом во взаимной вражде едва не погубили государство в Смуту и из-за чисто стилистических разночтений в церковной обрядности завели в стране такой Раскол, что, по мнению некоторых исследователей, это стало чуть ли не главной причиной трагедии семнадцатого года... — съязвил я в пику смелым обобщениям Феодосия Павловича, — вот тебе и сверхзадача — «Третий Рим»!

— А сам-то чему веришь, дитя эпохи разрушения? — мягко кольнул меня Феодосий Павлович и, не дожидаясь ответа, с удовольствием, как мне показалось, подхватил мою мысль: — Да, Смута была, она стала естественным продолжением смены элит эпохи слома средневековых порядков, зарождения ядра будущей Российской Империи... На смену детям боярским приходили дети дворянские, служивый класс, надежда и опора будущей Империи. Да, государство в этой сшибке и вражде двух сильнейших российских кровотоков едва не погибло. Но, посмотри, как и с чем вышли из Смуты — с окончательным утверждением единоначалия в лице царя, помазанника Божьего, почти императора. Это первое, а второе — Россию спасло то самое служивое сословие — ополчение в основе своей было дворянско-мещанским — как сказали бы сейчас, продвинутый класс, который и был более других «заражен» идеей «Москвы — Третьего Рима»... И последовавший в середине семнадцатого века Раскол — это не просто, как ты изволил выразиться, «стилистические разночтения в церковной обрядности», это опять же последствия вхождения в русскую жизнь сверхидеи «Москва — Третий Рим». Изменялись и корректировались богослужебные тексты и уставы опять же в соответствии с источниками, пришедшими из Византийской империи, в соответствии с рекомендациями Вселенского патриарха, читай — Константинопольского. А за этим последовал Раскол, едва не поставивший Россию на грань гражданской войны, и это еще одно подтверждение, что меры мы ни в чем не знаем. Трудно представить, чтобы в каких-нибудь немецких, фламандских, галльских землях, где тоже, и не раз, корректировались богослужебные тексты, люди бы стали добровольно сжигать себя тысячами, протестуя, как им казалось, против «антихристовых» затей своего главного пастыря.

— Так уж и тысячами?! — вырвалось у меня.

— Я где-то читал, в одном из монастырей совершили самосожжение сразу две тысячи семьсот старообрядцев, — невозмутимо отвечал Феодосий Павлович, вдруг как-то по-особому, задумавшись. —

Кстати, сторонников древлеправославной традиции и в здешних краях жило немало. Они довольно охотно селились, прятались от властей, тут в лесах, на левом берегу нашей Боганки. И вот еще, не успел тебе в редакции сказать, — оживился Никоноров, — храм-часовня, которую предлагает восстановить Мальков, была поставлена на месте, чуть ли не на фундаменте древнего скита в начале двадцатого века, когда вышел знаменитый указ Николая II о веротерпимости и началось довольно бурное строительство старообрядческих храмов по всей России... Тут как бы нам на определенные подводные камни не напороться — часовню, видно, придется переформлять на РПЦ или что-то в этом роде... но это уже не нашего ума дело, — скороговоркой пробормотал Никоноров. — Так вот, в этом скиту где-то в семидесятые годы семнадцатого века спалили себя заживо наши местные староверы числом более ста душ. У них был пастырем довольно известный в раскольничьем движении протопоп Никита Смирнов... Существует предание, что дети этих самосожженцев чудесным образом спаслись, якобы они воспитывались потом в семьях у окрестных раскольников.

— Этот поп Никита тоже, видно, из наших Смирновых, — слетело с языка у меня.

— Из каких таких «наших» Смирновых? — заинтересовался Феодосий Павлович.

— Да так, неожиданно проявились любопытные детали, — уклончиво отвечал я, — а вот про детей, чудесным образом спасшихся во время самосожжения местных старообрядцев, нет ли каких подробностей? Интересная история...

— То, что детей сгоревших староверов видели потом у местных раскольников, я встречал в донесениях священников никониан в губернскую епархию, — отвечал Никоноров, — но поскольку старообрядцы жили очень закрыто, доказать, что это приемные дети, было практически невозможно. Но местные, которые все-таки более или менее общались с раскольниками, упорно распространяли слухи, что у старообрядцев после гари в нашем лесу появились чужие дети. Возможно, так и было, но как спаслись дети? Скит был окружен царскими войсками и так называемыми «увещателями», переговорщиками, посланными властями, — как дети могли уйти незамеченными? Так родилось предание о чудесном спасении детей... Будем считать, красивая легенда и не больше, хотя, — забарабанил пальцами по столу Феодосий Павлович, — у старообрядцев много тайн... гонимая социально-религиозная группа, предельная непроницаемость, герметичность своего рода тайного общества... Это я, друг мой, — усмехнулся он, — подбираюсь к твоим словам, что Раскол чуть ли не к семнадцатому году привел...

Я сделал попытку что-то сказать об оценках исследователей раскольнического движения в России, о неискоренимой, по их мнению, вражде старообрядцев к государству, питаемой горчайшей обидой за гонения и преследования со стороны властей, что

вело к постепенному, но верному накоплению протестной энергии в глубинных пластах народной жизни...

— Понимаю, — как-то нетерпеливо остановил меня Феодосий Павлович, — но говорить, на мой взгляд, что религиозный раскол, начавшийся во второй половине семнадцатого века, привел к образованию серьезного, враждебного государству, социально-общественного движения, что могло подготовить почву для революционного взрыва в семнадцатом году, было бы абсолютно неверным. К началу двадцатого века число старообрядцев от общей численности населения Российской Империи составляло всего два процента. И в этом смысле они не были массовой социально-общественной силой. К тому же в народном сознании первопричины, истоки Раскола уходили в область преданий, мифологем. Можно сказать, в массовом сознании Раскол был преодолен. В представлении обывателя, староверы были какой-то экзотической, чуть ли не инославной сектой, не более... Но вот верхушка, старообрядческое купечество, вдруг приобрело в российском обществе невиданную силу и влияние. Хотя почему же «вдруг»? За двести пятьдесят лет со времени Раскола, благодаря неусыпным, отдадим должное, праведным трудам — «честные гири угодны Богу», говорили купцы-староверы — корпоративной спайке и взаимовыручке, в руках деловых людей из старообрядцев сосредоточилась львиная доля российского капитала. В начале двадцатого века две трети русских миллионеров-предпринимателей были староверами. Морозовы, Рябушинские, Мамонтовы, Гучковы, Прохоровы, Третьяковы, Алексеевы, Бугровы, Кузнецовы, Хлудовы, Кокоревы, Восстряковы — десятки старообрядческих имен — управляли текстильной промышленностью, банковским делом, торговлей хлебом, лесом, нефтью, владели пароходствами, железнодорожными компаниями, приисками и заводами... К чисто «капиталистической» неприязни к царизму, не дававшей монополизировать в полном объеме всю производственно-хозяйственную жизнь страны в старообрядческих руках, естественно примешивалась и более чем двухсотлетняя ненависть к царскому режиму как к вечному источнику насилия и гонений. Поэтому уже с начала двадцатого века старообрядчество, как мощная идейно-финансово-экономическая группировка, начинает нащупывать пути устранения царизма как верховной силы. Силы, всегда стоявшей и стоящей на пути к полномасштабной, полнокровной, «правильной» жизни. Отсюда Савва Морозов, дающий деньги большевикам на революцию. Отсюда поощрение собственных рабочих к забастовкам, покупка оружия для них в революцию девятьсот пятого года. Отсюда рабочие группы при военно-промышленных союзах в критические дни Первой мировой, ставшие по сути боевыми штабами по расшатыванию царского режима. Отсюда, главное, — военно-купеческий заговор во главе с Александром Гучковым, приведший к падению ненавистной монархии в феврале семнадцатого.

Вот что, на мой взгляд, стоит за мыслью, что Раскол привел к революции семнадцатого года.

— Словом, все-таки показали власти кукиш, — сказал механически я.

— В смысле, что староверы называют кукишем никонианское троеперстие — нет, так и не показали, — рот Феодосия Павловича широко разъехался в самодовольной, какой-то идиотической улыбке; такое с ним случалось, когда он начинал острить и каламбурить, — а вот в плане того, что веками жили с кукишем в кармане по отношению к власти предержащей — да, отыгрались по полной программе.

— И все-таки верность принципам, традициям этих людей достойна уважения. Кстати, чем не сверхидея для большинства общества?!

Никоноров согнал с лица свою странную улыбку и с интересом, строго посмотрел на меня.

— Верность идеалам, традициям — замечательно... только вопрос, каким? Но как сверхидея для абсолютного большинства общества — прекрасная мысль. Об этом, надеюсь, мы еще поговорим... — как-то вскользь, словно не желая подпускать к чему-то своему, сокровенному, бросил он. — В случае же со староверами эта идея, увы, стала идеей абсолютного меньшинства. И получилось, что эта верность стала не сплывать, а раскалывать общество. Староверы, как бы этого им ни хотелось признавать, в своей упертости стали раскольниками в обществе. Они, а не те, кто принял реформы Никона. Поскольку тех, кто принял реформы, было большинство. Не принявших — меньшинство... разрушающих, раскалывающих большинство. А так не должно быть. Меньшинству в таких случаях всегда следует смириться, чтобы удержать гражданский мир. Но когда меньшинство с исступленными воплями бросается в драку на большинство, это меньшинство становится орудием раскола. Поэтому, повторяю, сверхидея — это идея, нацеливающая большинство в обществе на новые сверхзадачи.

— Как «Москва — Третий Рим», как... что еще? — спросил я Феодосия Павловича. Мне уже давно хотелось вернуть разговор к прежней теме.

— Как великий модернизационный проект Петра на основе тотальной европеизации России.

— Можно подумать, что вбивание пинками России в европейский строй поддерживало большинство русского общества! — развел руками я.

— Понятно, что социологические опросы тогда никто не проводил. Но все-таки замыслы Петра в основе своей осуществились. Значит, его поддержало большинство. Без поддержки масс, как справедливо учит марксизм-ленинизм, революционные преобразования невозможны. Сверхидея, уловленная незаурядной личностью Петра, что «Третий Рим», чтобы состояться и выжить в своей имперской фазе развития, неизбежно должен вернуться в Европу, в свое историческое культурно-цивилизационное лоно, дабы напоить великие пространства европейской энергией делания, современными технология-

ми, передовой научной мыслью. Иначе Империя рухнула бы под тяжестью своего огромного неповоротливого тела. И эта идея была понята и разделена большинством предприимчивых людей России, малоземельного дворянства, купеческого сословия, сметливых выходцев из народа, чутко уловивших не только практическую выгоду от деловых контактов с богатым, развитым Западом, но и уникальную возможность вместе со страной резко подняться вверх. Тут, говоря сегодняшним языком, всю заработал социальный лифт. Вы посмотрите, среди сподвижников Петра практически нет представителей старой титулованной знати. Рядом в основном энергичные, цепкие, хваткие из низов. И в этом смысле великого реформатора поддержал народ, не дремлют элиты, имеющие всё и не желавшие перемен, не простонародье, а умные и дельные из народа, то есть сам народ. Подняться вверх — великий стимул для человека всех времен и народов. Подняться вместе со страной, взвихренной сверхидеей, — уникальный шанс, выпадающий, может быть, только русскому человеку. Россия Петра заговорила языком железных команд в армии, перестуком топоров на судовой верфях, звуком резца по металлу на оружейных заводах, скрипом подъемных лебедок на встающих среди болот дивных зданиях новой столицы, громом пушек с бортов военных фрегатов под Андреевским флагом, языком ученых диспутов в стенах Академии Наук... Вот что такое Петровская сверхидея и ее плоды! — буквально вскричал Феодосий Павлович. Я понял, что пора заказывать кофе.

И кофе, оказалось, тоже уметь варить на русской кухне Кригера. Из поджаренных зерен, крепкий, настоящий. После интернационального студенческого общежития, где в кофеварении изощрялись болгары, поляки, венгры, грузины, армяне и где в сессию кофе выпивалось литрами, мне казалось, я знал толк в этом напитке. Ценителем кофе, выяснилось, был и Феодосий Павлович. После первой чашки он пришел неожиданно в ровное расположение духа.

— О чем задумался, детина? О судьбах Родины? — спросил он меня благодушно-насмешливым тоном барина, созревшего приказать слуге подать трубочку после сытного обеда.

— Пытаюсь понять, кто вы, — подхватил я игривый тон собеседника, — славянофил-почвенник или безродный космополит-западник? Вы одинаково в восторге и от старца Филофея, и от Петра Великого... А это все-таки вещи разные.

— А может, я космополит-почвенник? — снова как-то придурковато осклабилась в попытке пошутить Феодосий Павлович. — И в этом смысле я, мой юный друг, хочу пропеть осанну последней сверхзадаче, которую ставил перед собой русский народ — построению коммунистического, а точнее, как я уже сказал, справедливого общества... Сверхзадаче, которая позволяла гармонично уживаться в себе, причудливо переплетаясь, и неповторимой самобытностью, так сказать, почве, русского народа, и его неис-

требимому интернационализму, всемирной отзывчивости, по замечанию классика, а по-простому — извините, батенька, космополитизму.

— Да вы уже восславили советский период, — напомнил я Никонорову, — как подтверждение решительного бесстрашия русского народа братья за то, что другие нации из чувства самосохранения стараются обойти стороной.

— Вот-вот, чтобы не надорваться... здоровьицу не навредить... во всем умеренность и аккуратность. А мы другие, мы надрываемся, жилы рвем, вселенские эксперименты на себе ставим! — снова воспламенился Феодосий Павлович. Кофе его, однозначно, взбодрило. — И по-другому мы не можем. Либо — так, либо — нас нет вообще! Вот сейчас решили жить как все. И что? Россия встала.

— Надрывались-надрывались — и надорвались! — опять с насмешкой сорвалось у меня с языка.

— Ты это о Советском Союзе? — надменно прищурился Феодосий Павлович. — Старая идея либеральных кротов еще со времен перестройки. Помню, как они стонали, мол, надорвались на стройках коммунизма, тянуть империю с ее мощными армией и флотом сил больше нет, хотим пожить нормально. Словечко-то какое скользкое, бесполое, нашли — «нормально»! — вдруг зашелся с пол-оборота мой собеседник. — Так вот я со всей определенностью человека, большую часть жизни прожившего при Советской власти, сформировавшегося при ней, изучавшего ее, да, изучавшего как журналист-обществовед, должен заявить: не было никакого надрыва и усталости у народа! Не было никакого застоя! Не было умирания коммунистических идеалов! Да, был невиданный по напряжению и самоотдаче труд по созданию индустриальной мощи страны, когда буквально на ровном месте поднимались гигантские заводы, электростанции, оборонные предприятия. Советская империя наливалась силой, накачивала стальные мышцы, наработывала нацеленный в будущее интеллект. Деревня уходила быстро, не оглядываясь, от понурых клячонок на скудных делянках среди кустов и перелесков к стоильным тракторам на широких мелиорированных полях — зарождались современные технологии работы на земле, зарождался, чаемый веками, механизированный труд на земле, зарождался новый образ жизни на земле. Я уже говорил, что в сельских клубах зазвучала фортепианная музыка. В деревнях начали открывать детские сады и ясли, фонды библиотек не уступали городским, уровень подготовки в сельских школах был таков, что деревенские дети могли поступать в лучшие вузы страны — каждый пятый сельский выпускник продолжал образование в институте. И это было уже в начале восьмидесятых годов прошлого века. Пик, так сказать, «застоя». Напомню, в этот пресловутый «застой» построены БАМ, сотни новых городов в Сибири, выведены на околоземные орбиты уникальные космические станции, в ту же русскую деревню пришли водопро-

вод, центральное отопление, газ и асфальтированные дороги. Да! В каждую центральную усадьбу нечерноземных колхозов и совхозов проложили из районных городов асфальт. К концу семидесятых — началу восьмидесятых годов прошлого века Советская Россия достигла не виданной прежде силы и могущества. Впервые за более чем тысячелетнюю историю Российского государства его граждане жили безбедно. Об этом не принято сейчас говорить, но именно на излете Советской власти, в период так называемого «застоя», в нашей стране впервые, подчеркиваю — впервые! — за многовековую историю была полностью изжита бедность. На уровне европейского среднего класса у нас жило более восьмидесяти процентов населения. Какая же здесь надорванность! Так, как жили тогда, мы вряд ли когда-нибудь будем жить. И люди понимали, что это им награда за их беспримерно самоотверженный труд, лишения и жертвы, принесенные на алтарь сверхидеи о построении справедливого общества, названного в семнадцатом году коммунистическим. И в этом смысле коммунистические идеалы в народе не умирали никогда. Их только реже стали, что называется, употреблять все... Страна тогда, накопив огромный промышленный, научно-технический потенциал, не виданные прежде материально-технические резервы, стояла на пороге перехода в новое качество своего развития, то, что называется сейчас постиндустриальным обществом. Перед ней надо было только в тот исторический момент со всей определенностью, четкостью и точностью поставить новую сверхзадачу, продиктованную наступающей новой эпохой. Эпохой искусственного интеллекта и цифры. Эпохой радикального слома традиционных ценностей. Эпохой окончательного торжества якобинского Запада над христианским. Советская Россия готова была вступить в новую эру смело и во всеоружии, не боясь потерять своего лица, не боясь быть поглощенной и растворенной в новых исторических реалиях. Интеллектуально и технически мы готовы были к новым цифровым технологиям — у нас были наработки, опережающие западные. Слом традиционных ценностей нам был также не опасен — мы получили от него прививку еще в бурные революционные и послереволюционные годы. Мы переболели якобинством и исторгли его из себя, породив новую систему ценностей, сжато сформулированной в Кодексе строителя коммунизма, гениально соединившего в себе христианские нравственные заповеди и вечно бунтующую, жаждущую революционных преобразований окружающего мира, прометеевскую природу человека. Повторяю: перед лицом новых, решительно-безжалостных исторических вызовов мы стояли в чрезвычайно выгодном положении. Важно было, снова повторяю, внятно сформулировать для страны новую сверхидею и поставить новую сверхзадачу. И начать понятный большинству поступательный, но осмотрительно-осторожный переход в новую

историческую эпоху... Но этого, увы, не случилось. Тот, кто взялся перенести драгоценный имперский сосуд российской государственности с одного этажа человеческой цивилизации на другой, более высокий, оказался не способным сделать это. По своей природной слабости, интеллектуальной несостоятельности, полному безволию и какой-то общей неполноценности. По ходу операции выяснилось, что ему нельзя было доверить даже кнутик деревенского пастушка, не то что державу и скипетр, что его удел с идиотическим простодушием дурачка-недоросля, подхваливаемого не без умысла окружающими, незатейливо выдавать, подшмыгивая сопельками, на ярморочной свистулке незамысловатые трели о гласности и перестройке... И он выронил, пустомеля и неумеха, этот священный сосуд из рук. Бесценная чаша — веками лелеемое волшебное лоно сотен народов и племен, уникальное вместилище неповторимых смыслов и энергий — превратилась в груду разбитых черепков и фрагментов. На самом крупном обломке, испещренном трещинами, тревожно вслушиваясь, не начнет ли он разваливаться дальше, расположились мы, сегодняшние... современная Россия.

— Не могу согласиться, — возразил я, — Россия — это не обломок, Россия — это по-прежнему самая большая страна в мире, с образованным, талантливым народом, худо-бедно, но действующей, не самой последней, экономикой, с ядерным оружием, наконец!

Феодосий Павлович с неподдельным вниманием и особенной участливостью выслушал меня.

— Мне приятно это слышать от тебя, — ласково сказал он, — ты еще молодой и, надеюсь, не один так мыслишь, — значит, остается надежда, что мы еще выкарабкаемся... Хотелось бы мне верить в это. Но пока... пока все говорит об обратном. Россия словно впала в морок, она не развивается, она стоит. Отдельные регионы и мегаполисы, как отдельные органы огромного существа, еще работают и пытаются разогнать кровь по всем жилам гигантского тела, но конечности уже мертвеют... Тысячекилометровые пространства безлюдны и пусты. Особенно печальна Центральная Россия, где уже двадцать лет не сеют и не пашут, где крестьянство, как производящее сословие, впервые за всю огромную историю страны прекратило свое существование. А ведь это сердце России. Что бывает, когда сердце останавливается?.. Мы все меньше производим. Все больше продаем сырья. Мы превращаемся в какую-то гигантскую линзу вечной мерзлоты. Люди, в массе своей, существуют, угрюмо и отрешенно погрузившись в заботы элементарного физического выживания. Им некогда поднять голову к небу. Да их никто к этому и не призывает. Пробует Церковь, но пока плохо у нее получается. Большой и все еще сильный, образованный и талантливый, как справедливо говоришь ты, народ, хоронит себя заживо, не вовлеченный в единый мощный поток делания и созидания.

ния. Отсюда в нем сегодня — безволие, безмыслие, безверие.

— Снова три «Б»? — спросил я Никонорова, вспомнив его «бескорыстие, бесстрашие, безмерность».

— Совпало так, — усмехнувшись, отвечал Феодосий Павлович.

Я в такое совпадение не поверил.

— По вашей логике, Россия, чтобы выжить, снова должна поставить перед собой очередную сверхзадачу? — сказал я. — Сдается мне, ответ у вас уже давно готов.

— Есть такое дело, — не стал кокетничать Феодосий Павлович. — Суть моей идеи проста... России, чтобы выжить в современных условиях, необходимо провозгласить себя международным центром традиций. Планетарной хранильницей всего светлого и божественного, что служит духовному и физическому процветанию рода человеческого на Земле.

Видимо, много недоуменной оторопи отобразилось на моем лице, если мой собеседник, сконфузившись, скорчил рожицу, повторяя меня, и деланно выпучил глаза.

— Вот так, ни больше ни меньше! — пафосно воскликнул он, овладевая собой. — Но прежде всего, здесь нужно прояснить одно заблуждение, которое вот уже без малого полтора столетия кочует по интеллектуальным центрам Запада и особенно популярно у нас в России. Это заблуждение сформулировано в известных тезисах о зкате Европы и конце Западной цивилизации. Так вот, никакого разложения, угасания, а тем более, умирания в Европе, читай, в Западном мире, на мой взгляд, и близко не стояло. Наоборот, Западная цивилизация уверенно и победительно вступила в новую эру человечества, эру, как я уже сказал, искусственного интеллекта и цифры. Мы же свой переход одновременно с ведущими странами мира в новую фазу человеческого развития под треп о перестройке, гласности, построении рыночной экономики бездарно профукали. Но мы свое даже через двадцать пять лет либерального бесплодия не только можем навестать, но и стремительно выйти в мировые лидеры, если станем, повторяю, глобальным планетарным центром, который вберет в себя лучших представителей человечества, верных Богом установленным традициям, Богом определенным представлениям о добре и зле, Богом представленным на Земле через своих пророков нравственным заповедям и нормам поведения... Но вернемся к ключевому для нас тезису о Европе упадка и тому, что там, на мой взгляд, действительно происходит. Повторяю, Европа, как матрица Западной цивилизации, уверенно, как никогда сильная и сплоченная, вступила в новую эру развития человечества. Ее колоссальные знания и вера в неисчерпаемые возможности человеческого разума формируют перед всем Западным сообществом свою сверхзадачу. Как более двух тысяч лет назад в колыбели европейской цивилизации — Древней Греции «умер

Пан», возвестив тем самым приход в человечество вместо устаревшего жизнелюбивого и светлого политеистического язычества сосредоточенного и жесткого монотеизма, так и в современной Европе решили окончательно распрощаться с волшебной мистикой христианства, заменив ее полностью и окончательно сухим безошибочным потрескиванием цифр в таинственных лабиринтах искусственного, «компьютерного» разума. Другими словами, Европа сделала свой окончательный выбор перед Верой в пользу Разума. В Европе Ум навсегда вытеснил Сердце. Отсюда жесткий слом Традиции. Вера подменяется верой в неисчерпаемые возможности человеческого разума, справедливость — доступностью для большинства суррогатов земных благ и удовольствий. Душа, как нематериальная субстанция, отменяется вовсе и безоговорочно. Все подчинено пользе, приобретению, технологическому прогрессу. И такая модель развития завораживает, увлекает ко все новым радостям и наслаждениям обестраченного, разодушевленного человека. Это колоссальный стимул к великой материалистической цивилизации, как сверхзадаче Западного мира. И в этом смысле Запад авангарден и брутален, пока существует материальное влечение в человеке. Так что ни о каком упадке Европы-Запада речи не может быть априори. Европа в новой фазе своего развития богатеет и крепнет. Но она остается без Бога. Разум не заменит Бога. А без Бога — все конечно. Так что время истинного упадка Европы еще впереди. Ее и всю Западную цивилизацию погубит безверие и всеохватный, всепроникающий сладкий яд отрицания. Но до этого еще далеко... Другим может быть будущее России — истинно гуманистическим, устойчивым и процветающим до Второго пришествия Спасителя, если она примет на себя высокую миссию Вселенского царства Традиции. Для этого должно быть внятно объяснено и провозглашено, что называется, городу и миру, что мы понимаем под Традицией. А это, повторяю, прежде всего нравственно-этические нормы, заповеданные человеку Богом через своих пророков. У каждого народа есть своя Библия, и ее священные тексты становятся на территории России одинаково почитаемыми каждым гражданином нашей страны. Более того, свод основных законодательных актов формируется на основе правовых норм, в той или иной форме присутствующих в каждом из таких священных текстов. Второе, Традиция предполагает разные формы собственности — частную, государственную, коллективную, смешанную; социально-экономическая жизнь основана на конкурентной основе, но без института ростовщичества. Третье, Традиция — это всемерная поддержка и поощрение государством и обществом всех естественных качеств и свойств человека в продолжении человеческого рода, сбережении семьи, заботы о потомстве, уважении старости. Традиция — это все лучшее, гуманистическое и справедливое из позитивного опыта мысли и жизнедеятельности че-

ловека. И самое главное, Россия торжественно провозглашает себя открытой для традиционалистов всех племен и народов, всех стран и континентов. Сегодня традиционалисты начинают чувствовать себя людьми второго сорта практически во всех уголках мира. В России, как великой вселенской твердыне традиций, они могут жить и развиваться без страха быть уволенными с работы за то, что, допустим, носишь крестик; быть объявленными гомофобами, что предпочитают любить женщин, а не представителей своего пола; быть взятыми на подозрение как террористы-фундаменталисты за естественное право защищать родные духовные ценности и святыни. Территория у нас огромная, скудно заселенная, и мы можем без особого напряжения принять и обустроить миллионы лучших из лучших сыновей и дочерей человечества. Какая великая созидательная энергия может влиться в замирающие пространства России!

— Вы предлагаете какое-то немыслимое великое переселение народов. Можно представить, какой хаос начнется в России! — сказал я первое, что пришло в голову. По-настоящему, меня занимала мысль об адекватности Феодосия Павловича.

— Этот процесс «немыслимого великого переселения народов», как изволил выразиться ты, естественно, должен быть контролируемым. Прежде всего Россию будут интересоваться специалисты-интеллектуалы в области высоких технологий, ученые, квалифицированные рабочие и аграрии, люди высокого реалистического искусства, — невозмутимо отвечал Феодосий Павлович. — Только жесткий отбор, лучшие из лучших, только на конкурсной основе можно будет получить право жить и творить в России. Но и преференции тщательно отобранные приезжающие должны будут получать соответствующие... Здесь нужно все основательно продумать... Но без такого суперпроекта нам не выжить. Либо наши пространства заселят путем внешнего насильственного вторжения, либо мы окультурируем их с помощью единомышленников всего мира, людей, спаянных идеей развития и приумножения общечеловеческой Традиции. Это будет в противовес безбожной материалистической Западной цивилизации новая вселенская общность людей, несущая миру идею спасения человеческого рода, бессмертной души человека, сохранения на Земле божественных нравственных заповедей, высоких смыслов, продиктованных Всевышним. И вновь Россия возьмет на себя воплощение новой сверхзадачи, и вновь разработает для всего мира новую конкурентную шкалу ценностей, и вновь будет путеводной звездой для сотен народов и племен планеты, и вновь с могучим приливом свежих творческих сил забурлит созиданием и деланием, энергиейстроек и дерзких замыслов. Тогда Россия наконец-то встанет с колен и явит миру свое великое предназначение быть хранительницей вечных ценностей, собирательницей в единую силу всех людей мира, верных

общечеловеческим традициям и заповедям, заповеданных Богом на Земле.

Феодосий Павлович резко остановился, словно бегун, преодолевший невероятно трудную и долгую дистанцию, выдохнул (пальцы рук его, когда он машинально обхватил пустую чашку из-под кофе, подрагивали), взглянул на часы и, не глядя на меня, то-ропливо засобирался:

— Мы с тобой уже три часа здесь болтаем, а мне номер на пятницу верстать... к четырем приходит корректор. Всё, пора... Не правда ли, уютное местечко? Теперь будешь знать, куда не стыдно пригласить в нашем славном Свободярске какого-нибудь важного, московского гостя, — сказал он, словно читая мои мысли, привести сюда пообедать в субботу Мишу Васильева. — И добавил, как-то многозначительно усмехнувшись: — Мы, случается, здесь с Лешей Мальковым встречаемся перетереть новостешки, о политике потрындеть... Большой радикал, между прочим.

— В чем радикал? — спросил я, смутно догадываясь, что Феодосия Павловича с Лехой Мальковым что-то связывает, может, и поглубже, чем со мной. Во всяком случае, вдруг понял я, перед моим визитом к Никонорову Леха уже обо всем уведомил его.

— Да, так... в некоторых своих воззрениях на жизнь, — уклончиво ответил Феодосий Павлович. И почему-то добавил: — На современную жизнь...

Мы расплатились (цены тоже оказались в ресторане весьма приемлемыми) и молча покинули гостеприимный трактир «У Вадика». Миновав разномастное, шумливое, к вечеру заметно оживившееся торжище — в междурядьях палаток бойко зашуршали с тележками на колесиках многочисленные сноровистые старушки, — вышли к памятнику Ленину.

— За просроченным товарцем — хлебцем третьего дня, полупрокисшим молочком, выдавшей виды колбаской спешит неугомонная, полуголодная старость, — хмуро пояснил геронтократический десант Феодосий Павлович, — к вечеру залежь за полцены отдадут... — И неожиданно с глуповатой задорностью пропел-продекламировал с фальшивым хохляцким акцентом, обращаясь к порывистой фигуре на постаменте: — Встанько, Лэнин, подывысы, як колхозы развалыся... хата раком, сенцы боком, и кобыла с одним оком.

Чугунный Ильич сурово отмолчался. Мне стало неловко. Никоноров сконфузился.

— Да, к слову... уверен, вы знаете, — жалея старика, сказал я уважительно, — почему в его царствование, — кивнул я на памятник, — не переименовали старорежимный Свободярск в какой-нибудь новомодный тогда Клароцеткинск? Странно, почему не тронули?

— Трогали, да еще как! — с благодарной торопливостью откликнулся Феодосий Павлович. — Один радикально настроенный уездный комиссар из быв-

ших учителей словесности предлагал, чтобы сохранить архитектуру слова, переименовать город в Смертьбуржуйск или Смертьцаревск — что-то в этом роде... но как-то пронесло. В шестидесятые, при Хрущеве, когда поставили ракеты, думали назвать Оборонском, потом Возмездьевском. Но посчитали, что расшифруются, и оставили все как есть. А потом какой-то московский лингвист, побывавший в наших краях, тиснул в центральной газете заметку, что в слове «Своробоярск» есть правильный классовый подтекст — бояре, мол, это свора... свора кровопийц, истязателей... что народ бояр всегда именно так воспринимал и не случайно как бы зафиксировал это в названии городка. С тех пор с переименованием затихли. Ну, а сейчас, когда старое — это наше все, Своробоярск звучит, можно сказать, авангардно. Даже Крошкин как-то на сессии районного собрания депутатов заявил, что Своробоярск — это «самый цимес, ништяк». Видимо, хотел сказать, что Своробоярск — это неповторимо, оригинально, хорошо. Но сказал так, как принято у них...

— У кого это — «у них»? — стало интересно мне. — «Цимес... ништяк» часто употребляются в криминальной среде...

— Верно! Поэтому, «у них»... это, можно сказать, в шайке, преступной шайке, где давно уже и воровской язык, и воровские порядки! — раздраженно бросил Феодосий Павлович.

3

Встречать Мишу Васильева Леха Мальков предложил вроде бы хлебосольно, с выдумкой, на широкую ногу. В то же время, пока он на следующее утро за столиком, врытом у меня во дворе под липами, излагал план приема Миши, меня не оставляло ощущение, что предлагается какая-то пошлая, неприличная клоунада, хотя все говорилось Мальковым самым серьезным тоном и с самым серьезным выражением лица. Во-первых, встречать Васильева Леха предлагал у ворот моего дома чуть ли не ротой почетного караула.

— Солдатики доставим в нужном количестве и в нужное время, — загибая мизинец на правой руке, глазом не моргнув, говорил Леха. — Затем мы вот тут под липами — очень живописно! — по рюмашке, второй... скатерть-самобранка за мной, — загибал он второй палец. — Потом едем в монастырь — торжественный перезвон колоколов, с игуменом я договарюсь... приобщение или, как там, облобызание святых мощей... монахи, баяют, раскопали где-то нетленные кости то ли святого Амвросия, то ли Пафнутия какого...» — Леха загибал третий палец. — После этого обед «У Вадика», будет Крошкин, на полезное знакомство он клонет...» — Леха закладывал четвертый палец. — Вечером тройная уха, банька у тихой заводи, ныряние после жаркого венчика в прохладные воды... так сказать, нагишом, под луну... а если еще девчонок подогнать, офици-

анточек от Кригера, в кокошниках! Будет просто сказка! — прикрыл он большим пальцем сложившийся кулак и двусмысленно помахал им на полусогнутой руке в воздухе.

— Ну, как планчок? — выдержав паузу, бестрепетно воззрился на меня Мальков своими ястребиными глазами.

«А ведь он замазать Мишу хочет!» — дошло вдруг до меня.

— Ты это все всерьез или как?! — вскинулся я.

— Что такое? Что мы так разволновались?! — с ехидцей отозвался Леха.

— Не паясничай! Противно! — сказал я. — И прошу без этого гаденного глума — «облобызание святых мощей», «нетленные кости святого» — что за гнусь ты несешь!.. И я не позволю скомпрометировать моего друга! — потряс я пальцем перед лицом разом насупившегося и помрачневшего Лехи. — И вообще, дай мне смету расходов по ремонту дома, я ее оплачу... Я не привык за чужой счет!

— При чем тут какая-то компрометация? Ты думаешь, твой приятель с девочками по случаю не резвится?! Так принято сейчас! Наслаждайся, пока можно... Компрометация? — нервно передернул плечами Леха. — Чушь какая-то! Впрочем, как скажешь, хозяин, — добавил он, проглатывая раздражение, подчеркнуто иронично налегая на последнее слово, — сам-то что предлагаешь?

— Первое, что мы покажем, какой конкретно участок? Поэтому с Крошкиным нужно встретиться уже завтра, официально, на его рабочем месте, чтобы он дал команду подыскать приличный вариант на уже отведенных под застройку землях. — Леха наострил уши и, не скрывая некоторого удивления, стал внимательно вслушиваться. — На обед в субботу Крошкин никогда не пойдет, вряд ли он, хитрый жулик, будет засвечиваться... ему безопаснее действовать через помощников, — продолжал я. — Ну, а если процесс закрутится, Крошкин сам найдет повод познакомиться с Васильевым... Второе, встречаем дорогого гостя скромно, по-деловому... ну, если только пару рюмок здесь под липами. — Леха снисходительно улыбнулся. — А вот поужинать, согласен, можно и «У Вадика», кормежка там приличная, обедали там вчера с Феодосием Пальчем... И последнее, предлагаю позвать на встречу старика, он очень забавный, вчера он меня буквально придавил своими историсофскими глыбами! Это будет наше фирменное угощение... Миша тоже любит пофилософствовать. А потом — кто лучше Никонорова расскажет о Своробоярске!

— А ты растешь, — без привычной насмешливости сказал Леха, — ситуацию с Крошкиным верно разложил... попытаюсь договориться с ним о встрече на завтра, только и тебе, — со значением посмотрел он мне в глаза, — надо бы у него побывать. Кто ему в пределах допустимого более или менее подробно расскажет о «дорогом госте»? — не удержался и все-таки противно ухмыльнулся Леха.

— Естественно, — польщенный Лехиной похвалой, как-то чересчур поспешно, до смущения, согласился я.

— А вот по Никонорову у меня сомнения, — не дал мне опомниться Леха, — чрезмерно треплив, как бы лишнего чего не нагородил... старческое недержание мощи, — скалambuрил Леха и победительно посмотрел на меня.

— Нет, он должен быть! — сказал я тоном, не терпящим возражений. Мне было важно поправиться в короткой слабости.

— Этот старый болтун только все испортит, его не должно быть! — принял вызов Мальков.

— Что он может испортить?! Он только придаст пикантности... Я лучше знаю Васильева, — закусил удила я.

— А я лучше знаю Никонорова! — вспенился Мальков. — Он сплетник, разнесет все потом по городу.

— Я тоже знаю Феодосия Палыча больше тридцати лет. И не помню, чтобы он был сплетником... Это уже неприлично, вот так, за глаза! — вошел в раж я. Мне почему-то хотелось Малькову во всем противоречить.

— Послушай, дружок, ты его помнишь, когда ходил в коротких штанишках и смотрел на него снизу вверх, — с вызовом бросил мне Леха. — Все изменилось, ты ничего здесь не петришь, и Никоноров твой стал другим...

— Какой я тебе, к черту, дружок! — с остервенением вскрикнул я и в быстром замешательстве стыдливо прикусил язык. Во двор входил, кажется, предварительно постучав в калитку, как из волшебной сказки, кротко улыбающийся, излучающий любовь и доброту, — я почти физически ощутил это, — маленький сухонький монашек.

— Простите, ради Бога, — в следующее мгновение взмолился я, — отец... — и вдруг словно осенило меня, — отец Нектарий!

— Чертыхнулся — сразу сотвори молитву: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного». И нечистый отойдет, — ласково заговорил монашек, бойкими мелкими шажками приближаясь к нам, — а вот то, что во гневе пребываете, уже покаянием и исповедью лечится. Но вы оба, я вижу, святых таинств не приобщаетесь, в храме бываете редко, от случая к случаю... — с мягким укором продолжал он, кланяясь поочередно каждому из нас. Мы истуканисто и безмолвно стояли перед ним, отведывая какие-то нелепые полупоклоны.

— А как вы догадались, что мы не воцерковленные? — спросил как-то запросто и грубовато Леха.

— А здесь и догадываться-то особо не надо, дерзновенный человек... вы здороваетесь со мной как светские люди, порядков иных не знающие, — ласково заворковал монашек. — Но ничего, еще протопчите каждый свою стежку-дорожку к храму, — многозначительно сказал он, внимательно вглядываясь в каждого из нас небесно-синими, от старости уже выцветавшими глазами. — А вот как вы догадались,

добрая душа, — обратился он ко мне, — что я иеромонах Нектарий?

— По какому-то необъяснимому наитию, ваше преподобие, — вспомнилось вдруг мне, вычитанное в какой-то книжке, обращение к иеромонаху.

— Просто — батюшка, — сделал он останавливающее движение рукой, — или, как вы сразу обратились, отец Нектарий... А вы, теперь уже моя очередь догадываться, — пытливо взглянул монашек на меня, — Кирилл Прилукин?

— Верно, — не стал скрывать удивления я.

— Никакого наития, — улыбнулся гость, — мне описал вас послушник, которому вы любезно оставили для меня свою визитную карточку... по вашей визитке я позвонил в московскую редакцию, там сказали, что вы в отпуске в Свободоярске, дали ваш тутошний телефон, про мобильный я по старинке забыл спросить, а по номеру телефона нетрудно установить и адрес... звонил вчера весь день, вас все дома нет, — заволновался неожиданно монах, с жадным любопытством оглядывая дом и двор. — Так что ничего сверхъестественного, молодые люди, — с учтивой беглостью продолжал он, — только чрезмерное любопытство старого, все еще суетящегося, Господи, прости, человека. Хотя... — он сделал паузу, — впрочем, об этом потом... — и посмотрел на Леху, — извините, но мне ваше лицо однозначно знакомо, хотя... я наверное знаю, мы с вами нигде и никогда не встречались.

Я представил отцу Нектарию моего друга.

— Извините, батюшка, я спешу... мы с вами действительно прежде не были знакомы, но я рад знакомству состоявшемуся, — забормотал вдруг Леха и стал как-то суетливо, что было абсолютно не свойственно ему, выбираться из-за стола. — Поеду договариваться с Крошкиным, — бросил он мне, не поднимая глаз, — о встрече на завтра с нами... завтра пятница, день короткий... надо успеть застолбить у него время.

— Вспомнил, — сказал отец Нектарий, когда Леха отъехал от ворот на своей черной, огромной, похожей на катафалк, машине, — ваш друг, Кирилл, удивительно походит на одного недавнего посетителя ко мне, — уточнил он, — вы не поверите, они как близнецы, только тот постройнее, поизящнее сложен, тоньше лицом, и глаза, кажется, светлые... У вашего друга есть брат?

Я растерялся. Казалось бы, столько лет знаю Малькова, но только теперь вдруг сообразил, что ни разу не был у него дома, не был знаком с его родителями, не имею малейшего понятия о его близких.

— Увы, не знаю, батюшка, — промямлил я и предложил гостю подкрепиться с дороги.

Отец Нектарий внимательно посмотрел на меня, снял черную бархатную скуфейку и комочком носового платка, извлеченного из бокового кармашка старенького, вылинялого подрясника, промокнул несколько раз вспотевший лоб. День, в отличие от вчерашнего, разгорался жаркий. Было солнечно, ти-

хо и безветренно. Кротко падали на землю первые желтые листья.

— Сегодня заканчивается Успенский пост, — сказал монах, с явным облегчением присаживаясь на скамейку за столом и освобождаясь от небольшого рюкзака за спиной, — если можно, немного меда и стакан теплой воды... А вот о людях, что рядом с вами, не грех и поинтересоваться... чтоб потом разочарований меньше было, душа моя, — неожиданно добавил он и со значением посмотрел на меня.

— А может, все-таки пройдем в дом, — предложил я гостю, уже понимая, кто передо мной.

— Не стоит, касатик, не стоит... здесь чудесно, такое хрустальное благолепие... и солнце сквозь листья столетних лип... как в пору детства моего, — поднял гость глаза к небу и еще раз огляделся. Ставшие еще более синими от синего неба глаза старца увлажнились.

Я почувствовал сильнейшее волнение и, сбивая минутную слабость, ошалело помчался в дом за угощением. Наверху включил электрический чайник, достал свежую скатерть, набрал в вазочки изюма и очищенных грецких орехов, нацедил из банки в блюдце свежего меда (как знал, незадолго до этого купил на рынке), выставил все это на поднос и поспешил снова во двор.

Отец Нектарий уже обходил дом по периметру, ловко прицеливаясь и щелкая объективом профессиональной камеры «Nikon».

— Вот, — сказал он, помахав фотоаппаратом в воздухе, — с некоторых пор всегда ношу с собой... Остановись, мгновенье, — ты прекрасно! Щелчок, и прекрасное мгновение навсегда с тобой...

То ли погода стояла особенная, то ли я хорошо выспался, но с этим неожиданным гостем мне было удивительно легко и свободно. Я быстро расстелил скатерть, расставил вазочки и сбегал еще раз в дом за чайником, заваркой и чашками.

— Прошу, отец Нектарий, а то осы налетят, — позвал я старца к чаю.

— Как вы сказали? Осы налетят? — подошел с каким-то просветленным взглядом гость. — Так говорила моя мама, когда мы накрывали стол на свежем воздухе вот в такую же пору... Стол у нас стоял также под этими липами, но, кажется, ближе к саду... Ну, вот, похоже, я вам все и сказал, — глянул он на меня вопросительно и ясно.

— Я сразу догадался, кто вы, когда мне сказали, что вы — Смирнов, поэтому-то и побежал сразу к вам в монастырь, — радостно признался я.

— Не побежали, а, насколько я знаю, поплыли, — улыбнулся старец, — кстати, обратно вы не могли бы меня доставить по воде, меня отец любил в детстве катать на лодочке до монастыря и обратно...

— Всенепременнейше, с удовольствием! — с какой-то неприличной, не по летам, восторженностью отозвался я. Мне показалось, старец по добром усмехнулся. — Каждый день для зарядки стараюсь походить на веслах!

— Ну, вот и славно. А теперь откушаем чайку — так, кажется, прежде говаривали в нашем народе, принимаясь за чаепитие, — бочком подсел к столу старец, а затем ловко перекинул через скамейку обутое в кроссовки ноги. — Эти липы посадил еще мой дед при царе-Миротворце — великий государь был!.. Так что им уже прилично за сотню... А вот сад, я думаю, новый, только тоже уже состарившийся...

— Его посадил мой дед, — в свою очередь не без гордости сказал я, — тоже при по-своему великом красном государе... — На последних моих словах старец опустил глаза. — Часть деревьев давно уже по старости вырубili, подсадили новые... но часть старых, как это ни удивительно, еще плодоносит. И весьма щедро... бывает, яблоки некуда девать.

— А дом, я смотрю, вы решили подновить, — кивнул отец Нектарий на аккуратно сложенные упаковки сайдинга в целлофане и кирпичи у крыльца, — да и в подвале слышно кто-то работает.

— За три века дом дал просадку, специалисты посоветовали укрепить фундамент... в подвале бетон под фундамент закачивают.

— Дом... просадку дал, любопытно... — неопределенно протянул старец, аккуратно отправляя чайной ложечкой изюм в рот и запивая чаем, — триста пятьдесят лет простоял... и вдруг просадку дал... А специалисты — это ваш давешний друг? — задался вопросом он и неожиданно раздумчиво добавил: — Какая-то особая планида, видимо, влечет его сюда...

— Скажите, отец Нектарий, — вдруг спросил я, — почему вы называли его дерзновенным человеком? Вроде и похвалили, а вроде — и нет.

— Напомнил он мне неких людей из далекой юности моей, — вздохнул старец, — те тоже дерзнули начать вроде бы правое дело, но неправое к какой-то другой большей правде, а вот принять эту большую правду они не смогли...

— Почему?

— Потому что — дерзновенные были, Бога не хотели в душе слушать! — Мне показалось, старец метнул из-под бровей синий огонек. — А вот с вами я премного рад познакомиться... Я за вами давно уже слежу в русской прессе. Вдруг, думаю, из тех самых Прилукиных, что купили у нас дом тогда... Мне покойная матушка говаривала, что купили Прилукины... фамилия довольно редкая... А потом вы как-то писали в поддержку возвращения церкви нашего монастыря, еще на излете большевицкой власти... Я тогда еще раз подумал, что вы не случайно хорошо пишете, с любовью, заинтересованно... Вы тогда написали, что в детстве играли рядом с монастырем, значит, росли где-то рядом... И вот — я с вами беседую у родного дома, родного и для вас, и для меня. Ну, не чудо ли это, скажите мне, душа моя!

Признаюсь, волнение старца передалось и мне. Я тоже был под впечатлением этой необычной встречи. Я почувствовал вдруг, что завязывается какой-то странный тугой узелок судьбы, расплести который будет не так-то просто. А эти ощущения отца Некта-

рия, так совпадающие с моими, что появление Малькова здесь не случайно? Сердце мое затрепетало.

— А вы знаете, батюшка, сейчас мы с моим другом начинаем кампанию по возрождению храма-часовни в Заречье, — сорвалось у меня. — Может быть, сможете чем-то помочь в ваших кругах?

Старец внимательно посмотрел на меня.

— Именно по этому делу я ездил позавчера в Москву к Патриарху... Его Святейшество обещал оказать содействие прошению воинской части по восстановлению на территории гарнизона часовни, возведенной, если мне не изменяет память, чуть более ста лет назад в честь преподобного Романа, ученика самого Сергия Радонежского, основавшего в конце четырнадцатого века на месте будущей часовни свою обитель. Ее так и звали в народе — Романовской... Правда, часовня эта была построена старообрядцами, тут тонкие коллизии возникают...

— Как? Вы ездили к Патриарху с прошением воинской части? — изумился я.

— Что вас так удивляет? Меня посещал в монастыре командир этой части... дважды. В первый раз советовался, как приступить к восстановлению часовни, а во второй, по моему наставлению, привозил письмо-ходатайство к Святейшему...

— А мне Мальков, ну, Алексей, который только что был здесь, предложил поднять информационную волну в прессе... Что, мол, на это только надежда. А я-то все думаю, почему армейцы сами не побеспокоятся?! И без прессы часовню можно восстановить. Так для чего же тогда меня подключать?! — стукнул я ладонью по столу.

— Не гневайтесь. Вы слишком эмоциональны... Все рано или поздно узнается, — деликатным, легким прикосновением накрыл мою руку своей маленькой сухой ладошкой старец. — Если ваши помыслы чисты, то все только во благо.... Видимо, ваш друг хочет ускорить процесс, пресса серьезная сила... — Какое-то время старец сосредоточенно над чем-то раздумывал. — Удивительно они все-таки похожи — тот военный, что приходил ко мне, и ваш друг. И оба с идеей...

— А как представился военный, как зовут его, в каком звании? — нетерпеливо спросил я.

— Он полковник... у него три большие звездочки на погонах, — проявил неожиданную осведомленность отец Нектарий, — да, он так и представился — командир такой-то ракетной дивизии полковник Шатров.

— Шатров? — прикинул я. — Выходит, не брат.

— Фамилии иногда ничего не значат, — задумчиво сказал старец, — случается, двоюродные братья по материнской линии похожи больше, чем родные.

— Как Николай Второй и его английский кузен Георг Пятый, — вернул я.

— Прекрасная иллюстрация к мысли, — уважительно кивнул головой старец.

— Николай Второй тут вовремя вспомнился, — пришла мне неожиданная мысль, — ведь это благо-

даря его указу «О веротерпимости» старообрядцы начали бодро возводить свои храмы в России, в том числе и нашу часовню... И как теперь быть с этим старообрядчеством? Вы правы, ситуация тут складывается непростая...

— Патриарх обещал разобраться... Но я о другом. Видите, как все непросто в нашей жизни, — ласково улыбнулся старец, — если огораживаться условностями... Главное понять, угодное ли Богу дело делаешь. А возродить храм Божий, временно утерянный, всегда дело благое перед Спасителем нашим. Не так ли, душа моя?!

— Извините, отец Нектарий, — сказал я так, словно что-то подтолкнуло меня изнутри, — но эти условности приводили и к тому, что люди себя заживо сжигали, что, в частности, случилось, как мне рассказывали, на месте, где была возведена потом эта часовня.

— Все верно, за свои убеждения люди готовы идти добровольно и на костер, — согласно закивал головой старец, — но всегда ли то, что человек принимает за убеждения, подлинные, а не мнимые ценности? Разобраться в этом практически невозможно. Все зависит от личности, от ее духовной зрелости, от масштабов приближения ее к Богу. Вы знаете, молодой человек, что бы я принял за критерий истины? — неожиданно улыбнулся старец. — Вззрения большинства! Чисто демократический метод! Лучше не придумайшь. Староверы остались в меньшинстве, а значит, в чем-то они не правы. Поверьте, друг мой, — приложил старец руку к сердцу, — я глубоко чту их аввакумовскую стойкость, неподкупность, преданность идеалам и уложениям, завещанным предками... Я даже восхищаюсь ими, преклоняю перед ними колена как перед мучениками и заступниками веры, как они ее понимали! Я горжусь, что в России были такие подвижники духа! Но за ними не пошли... Значит, душа народная приняла новое и понесла его дальше в своем историческом развитии... Такую же трагедию я вижу в Белом движении и в делах других дерзновенных... Неужели они снова нарождаются? — задумался вдруг старец, словно прислушиваясь к чему-то, что слышит только он. — Боюсь, вновь они пойдут против большинства, — еле слышно, словно про себя, проговорил он.

— О ком вы, отец Нектарий? — спросил я, почувствовав, как беспричинная тревога заползает в душу.

— О них... о тех, кто, мне кажется, сейчас рядом, которых не ждут, но они тут, рядом, и скоро вырвутся, как звери из клеток, на волю... — загадочно сказал старец и пристально посмотрел мне в глаза.

— Не понимаю, — смутился я.

— Я и сам пока многого не понимаю, но я вижу... и что-то будет, — снова туманно отвечал старец и, подумав, вдруг добавил: — Он мне хотел в чем-то открыться, я это почувствовал, в чем-то тяжелом, может быть, страшном... но... не решился. Но он при-

дет скоро снова... в третий раз... И тогда он может открыть сердце. Я не хочу этого! — вырвалось у него.

— Он — это тот, кто так похож... на моего друга? — почему-то, холодея, спросил я.

Старец промолчал.

— А вам приходилось видеть разрушенную часовню, может быть, фотография сохранилась? — спросил я после неловкой паузы первое, что пришло в голову.

— Мне было всего пять лет, когда мы с мамой каким-то чудом в тридцать третьем вырвались отсюда в Эстонию, — заметно заволновался старец. — Я не помню, чтоб мы посещали с отцом священником Романовскую часовню. Возможно, и были там, — с этим храмом, точнее, с этим местом, как рассказывала мне мама, нашу семью связывало что-то особенное, — но детская память избирательна, вот, как с отцом плавали к монастырю, помню... Но это же лодка, речка, кувшинки в заводях, сияющие купола над горой — так ярко все, волшебное... А вот часовню не помню... Но фотография сохранилась в нашем семейном альбоме, который мама вывезла за границу... Я ее с собой, не поверите, снова привез в Россию... Сейчас она по просьбе Святейшего у него в канцелярии.

— И как выглядела часовня? — заинтересовался я.

— Судя по фотографии — это был небольшой, можно сказать, миниатюрный храм, выдержанный в стиле раннего новгородского зодчества. Вам знакома старообрядческая церковь Николы Чудотворца у Тверской заставы в Москве, напротив Белорусского вокзала? — живо спросил старец.

— Хорошо знаю, — отвечал я, — некоторое время жил на улице «Правды» и, когда выходил к дому из метро «Белорусская», всегда обращал на этот храм внимание... такой суровый, аскетический стиль... заставляет уважать. Не знал, что он старообрядческий.

— Так вот, часовня, только без колокольни, почти копия этого храма. А может, наоборот... Насколько я представляю, церковь Николы Чудотворца была заложена на год позже часовни.

— Ну что ж, за возвращение такой красоты стоит побороться! — бодро сказал я, нацеливаясь на вопрос, может быть, не совсем приятный старцу: — Вы обмолвились о какой-то особенной связи, отец Нектарий... ваша семья, часовня?

— А, вот вы о чем... заметили! — вопреки моим ожиданиям, охотно отозвался старец. — Дело в том, что пастырем у тех староверов, что предали себя самосожжению в обители преподобного Романа и в память о котором была воздвигнута эта часовня, был мой далекий предок протопоп Никита.

Я вспомнил рассказ об этом Никонорова. Все сходилось.

— Старообрядцы, числом более двух сотен, сожгли себя тогда, но дети их чудесным образом спаслись, — вырвалось у меня.

— Откуда вы знаете?! — впечатлился старец.

Я коротко рассказал ему о краеведческих изысканиях Феодосия Павловича.

— Познакомьте меня с ним, Кирилл, — попросил старец, — может, он поможет разобраться, что же тогда случилось на той гари, как выжили дети...

— Их могло спасти цареву войско, окружавшее скит, — предположил я.

Старец отрицательно покачал головой.

— Недели три тому назад, по разрешению Святейшего, я заглядывал в синодальные архивы, нашел донесение о том самосожжении... В бумаге указывалось, что стрельцы не успели взломать скитские двери... огонь был страшный... сгорели все.

— А потом детей сгоревших стали замечать в оставшихся старообрядческих семьях... Так возникла легенда о чудесном спасении деток, — повторил я рассказ Никонорова.

— То, что дети спаслись, — чудо, — проговорил старец, — но сдается мне, что чудо это — рукотворное...

— Вы хотите сказать, что дети все-таки в прямом смысле этого слова вышли из огня. Но каким образом, если вы сами читали, что огонь поглотил всех?

— Если спрашиваешь, жди ответа, — неопределенно, глядя в землю, проговорил старец.

На этом чрезвычайно интересном месте наша беседа была прервана появлением Усатого с товарищами. Было около двух часов пополудни, время обеда для моих строителей. Обычно они уезжали обедать на рафике куда-то в город. Возвращались ровно через час и, надо отдать им должное, всегда трезвые. Ладные, в одинаковых комбинезонах, как в униформе, рабочие вызвали заметный интерес у старца. Когда они миновали нас, почти разом поздоровавшись, и вышли за ворота, старец не без восхищения посмотрел им вслед:

— Солдатушки, бравы ребятушки! Не знаю, почему, всегда уважал военную косточку!

— Почему вы решили, что они военные? Это обыкновенные рабочие...

— Возможно, — усмехнулся старец, — мне пришлось достаточно пожить среди военных... видел выправку старой русской школы, эти не уступают... Право, молодцы! Это они у вас фундамент укрепляют? Эти укрепят... эти с любой задачей справятся! — с легкой иронией протянул он и неожиданно добавил: — А нельзя ли посмотреть, что они там мастERYт? — кивнул головой в сторону подвала.

— Да, ради бога, отец Нектарий! — с энтузиазмом откликнулся я, гася вновь забродившие во мне, тревожные настроения, — заодно и дом посмотрим.

Старец ловко упаковал «Nikon» в чистую махровую тряпицу, аккуратно уложил в рюкзачок, который затем привычным движением приладил за спиной, разгладил ляжки — и... хоть сейчас в путь. Глаза его ярче засинели, было видно, что он хорошо отдохнул. «Да он еще крепкий старичок», — подумал я, глядя на его жилистую, юркую фигурку.

— Под девяносто уже катит, — словно читая мои мысли, сказал старец, легко преодолевая довольно

крутые ступеньки крыльца, с восхищенной умильностью заглядываясь на правильные, словно подстриженные, начинающие желтеть, благородные кроны двух лип перед входом в дом, — а как сейчас помню вот здесь у крылечка, у этих деревьев... были они поменьше, послабее, турничка не было... подводу, которая должна была доставить нас с мамой на вокзал; помню коричневую кобылку, с атласной шерстью на крутых боках, длинную конскую гриву до оглобелей; отца в легком подряснике, хотя было уже прохладно, он помогал укладывать на телегу вещи; легкий сырой туманец преддизмья, влажные, скользкие листья под ногами... более восьмидесяти лет прошло, — перекрестился старец на крыльце, — но, извините за банальность, все как вчера было.

— А почему ваш батюшка с вами не поехал? — спросил я, открывая дверь в дом.

— Ему не разрешили выезд, хотя отец Александр Киселев хлопотал из Эстонии за всю нашу семью, — отвечал старец, заметно волнуясь, переступая порог дома.

— Тот самый Киселев?

— Да, да — тот самый, что стал известен потом служением при храме РОА, да и не только этим... — скороговоркой, как-то машинально отвечал старец, смущенно вглядываясь в узкий, бревенчатый коридор, ведущий к деревянной, в два перехода, лестнице на второй этаж, с освещенным яркой лампочкой входом в подвал под лестницей...

— С чего начнем, — спросил я, — поднимемся наверх? Или прежде осмотрим подвал?

Старец, прижимая платок к глазам, только кивнул головой наверх.

— Боже, они и скрипят, как в детстве, и с таким же волшебным рисунком некрашеного дерева, — шептал он, поднимаясь по стертым до полукружья ступенькам лестницы и прихватывая правой рукой отполированные временем до глянца перила. — Здесь у нас была столовая, она же гостиная, — говорил старец, взволнованно-бегло оглядывая самую большую комнату верхнего этажа, — удивительно, у вас такой же круглый стол посередине; а кухня осталась кухней; спальня родителей... а вот и моя детская, — затрепетал он на пороге моего кабинета, — образ в правом углу над моей кроватью... только у меня была икона Спасителя, у вас Богоматери, — перекрестился трижды он на найденную мной случайно в одной из заброшенных деревень полуобсыпавшуюся от сырости ветхую икону Божией Матери, — письменный стол у окна, примерно за таким же я начинал читать-писать, рисовал акварельными красками, — продолжал комментировать он, — а вот книжных шкафов не было... стояли комод, этажерка с детскими книжками, на стене висела карта двух полушарий...

— К слову, о книгах, отец Нектарий, — пригласил я старца присесть в кресло у письменного стола, прилаживаясь сам на низенький диванчик, который служил мне и кроватью, — в этих шкафах ваша се-

мейная библиотека... уникальные вещи — от Данилевского, Леонтьева, Нилуса, Бердяева, Розанова, Мережковского до Шопенгауэра и Ницше...

— Каким же чудом они сохранились? — легко привстал с кресла и поспешил к шкафам старец. — Да, вспоминаю, книги, много книг, стояли у отца в кабинете, который он оборудовал по примеру Толстого в большой кладовой в подклети. — Старец деликатно раскрывал стеклянные створки шкафов и гладил ладонями золото темно-коричневых переплетов книг. — Удивительно, их держали в руках мои... как же они не пропали в те времена?!

Я рассказал историю с чудесной находкой в подвале.

— Так-так, — кивал головой старец, — лежали в ларе, заваленном всякой рухлядью? Отец, видимо, спрятал самые ценные перед арестом... За ним пришли, как выяснил я недавно, буквально через полгода после нашего отъезда.

— Теперь они ваши... дождались хозяина! — совалось у меня.

— Что вы, добрая душа! — вполоборота повернулся ко мне старец. — Они открылись, словно из небытия. Ну, если только возьму одну какую на память... Не приходилось встречать с пометками, записями на полях, значками какими-либо? Вот ее бы и взял, вдруг это рука отца или деда!

— Слушайте! — вдруг осенило меня. — Мне попался фолиант в обложке из кожи, — прекрасной, толстенной кожи, — написанный от руки, на старославянском... Я, к сожалению, не силен в старославянском, но это что-то похожее на домовую книгу, приход-расход, заметки о повседневных делах... Вам, батюшка, должно быть это интересно — там своего рода, как я понимаю, история вашего дома!

— Покажите мне эту книгу! — так и засветился в каком-то нетерпении старец.

В каком-то из шкафов фолиант был, слава богу, обнаружен. Старец бросился с книгой к окну. С трудом удерживая ее на весу, повертывая к свету, стал лихорадочно перелистывать.

— Вы не представляете, молодой человек, что я держу в руках! — с восторгом обратился он ко мне. — Судя по всему, это записи человека, который строил этот дом, — протодиакона Артамона Смирного. Удивительно! Просто чудо! Вот что я возьму, с вашего позволения, с собой!

Старец прижал книгу к груди и забавлялся, как младенца.

...До подвала мы в тот день так и не добрались. Мой неожиданный гость пребывал в каком-то лихорадочном нетерпении взяться за изучение записок своего предка. «В следующий раз, касатик, в следующий раз, — приговаривал он, раскрывая и закрывая древний фолиант, — чувствую, я еще побываю у тебя... Как это теперь довести?» В рюкзачок старца книга не помещалась, и я упаковал ее в два прочных целлофановых пакета. Старец торопился домой. Он отказался даже от лодки и принял мое предложение

добраться до монастыря на такси, которое по моему вызову подкатило к дому минут через пятнадцать. Чего-чего, а таксистов в нашем городке в новейшие времена прибавилось в геометрической прогрессии. Вчерашние работяги оборонных заводов быстренько переквалифицировались в извозчиков... От моего сопровождения старец решительно отказался. «А как же управитесь с книгой, тяжелая...» — попытался было настаивать я. «Ничего, послушник у ворот встретит... Спасибо за подарок! До скорого свидания! Храни тебя, Господь! — помахал мне рукой из машины старец, — до скорого!..» — повторил он, мне показалось, со значением из-за полуопущенного тонированного стекла боковой дверцы такси. Любят в нашем городке, как и по всей России, непроницаемость тонированных стекол...

4

Глава районной администрации Крошкин совсем не соответствовал своей фамилии. Он оказался крупным, высоким, вполне себе представительным мужчиной. Держался осанисто, с неброской солидностью. Лицо сохранял в профессиональной сосредоточенной внимательности. В человека всматривался с какой-то неуловимой опаской, рта лишний раз не открывал. Глазами был «чудь белоглазая». Глазки его подводили, портили все... Бесцветно-пустоватые — смотрели замершими, чуткими окуньками, готовы были вильнуть — и были таковы!

Он принял нас с Мальковым сдержанно, жестом пригласил за длинный полированный стол для совещаний, сам привычно уселся во главе стола. Ни тени смущения перед московским журналистом, ни хлопотливого псевдогостеприимства — даже чаю не предложил. Во всем несуетливая деловитость, многозначительное поглядывание на недорогие, я бы даже сказал, дешевенькие часики. Да и костюмчик, должен заметить, на нем был так себе, средненький. «Ловкий позер! — заметит затем по этому поводу Леха. — У него бы московским жуликам, разряженным, как новогодние елки, поучиться пыль в глаза народу пускать».

— Слушаю вас, Алексей Константинович, — с приветливой снисходительностью обратился Крошкин к моему другу (чувствовалось, они давно знакомы), когда мы расселись за столом. Леха коротко, в тон хозяину кабинета, изложил суть дела с Мишей Васильевым.

— Понятно... чем можем, поможем, — сказал Крошкин, встал и подошел к селекторному пульта. — Нина Васильевна, — обратился к секретарше, — срочно пригласите ко мне Калеватова.

Через пару минут в кабинет Крошкина колом вкатился толстячок средних лет, так же, как и начальник, одетый в неброский костюм, с чеховской бородкой и в очках с тонированными линзами.

— Леонид Михалыч Калеватов, начальник управления по земельным ресурсам и землеустройству

района, — представил его нам Крошкин. — Вот товарищи, — кивнул он в нашу сторону, — подыскивают для серьезного, — подчеркнул голосом, — очень серьезного человека из Москвы приличный участок на Красных Холмах (вот, оказывается, как нарекли берег Боганки от города до монастыря наши чиновники; ну что ж, для «серых пиджаков» весьма неплохо) с выходом к реке, естественно, среди сосен...

— Площадь? — навел на нас с Лехой непроницаемые очки землеустроитель и достал блокнотик с ручкой из бокового кармана пиджака.

— В пределах полутора-двух гектаров? — вопросительно глянул на меня Крошкин и добавил: — Больше не можем... вдоль реки, практически в черте города, за каждый метр драка идет.

— Цена? — развязно спросил Леха, видимо, для меня как основного посредника с Васильевым.

Калеватов негромко назвал, даже для меня, дилетанта, какую-то смешную цену сотки земли в столь живописных местах. И потянулся было чиркнуть что-то в блокнотике, но был остановлен многозначительным, с нажимом, взглядом Крошкина.

— Когда приезжает ваш друг? — поправился Калеватов, откладывая ручку в сторону.

— Завтра, примерно к полудню, — ответил я.

— Хорошо, — сказал Калеватов, — завтра в четырнадцать буду ждать вас перед входом в администрацию... поедем смотреть участок. — И вопросительно взглянул на Крошкина.

— Можете идти, — сказал Крошкин и посмотрел на круглые, настенные часы над дверью: — Через полчаса жду с отчетом по текущим делам. — Опытный администратор, — добавил он, когда Калеватов бесшумно укатился за дверь, — все схватывает на лету, разжевывать не надо, — и вильнул, словно вспомнив что-то неприятное, своими пустыми, белыми глазками-окуньками в сторону. — Будут еще вопросы?

— Вопросов нет, Владимир Поликарпыч, — ответил Леха, — пока...

— Пока — в смысле до свиданья, — почему-то вдруг засмутился Крошкин, пожимая на прощанье нам руки, — или?..

— Или... — неожиданно нагло вато подмигнул ему Леха. Белые глазки Крошкина сделались оловянными.

— Осторожный барыга, — сказал Мальков, когда мы усаживались в его машину, припаркованную перед входом в администрацию. — Ты заметил, как он остановил этого землемера, когда тот попытался нарисовать в блокнотике настоящую цену за сотку?

— Что-то такое припоминаю, — сказал я беспечно, так, что Леха не удержался от снисходительного взгляда в мою сторону.

— Надо предупредить твоего Васильева, что они попытаются ошкурить его по полной, — наставительно сказал Леха, вырывая в сторону моего дома.

— Как это? — наивно спросил я. — Сумма уже названа.

— На бумагах — да! — будет проходить инвентаризационная, копеечная стоимость, — хмыкнул Ле-ха, — на деле — сумма увеличится стократно... Вот эту окончательную цифру и хотел нарисовать в блокнотике этот жук Калеватов... Если клиент соглашается, тогда все идет в пакете, вплоть до подрячика по строительству дачи. Но Крошкин тебя не знает, решил не рисковать... Вот сейчас они где-то в укромном местечке сбежались и перетирают, как трянуть твоего московского Буратино.

— А если он не согласится?

— Кто?

— Буратино!

— Тогда они замордуют его тысячами согласований, дикими расценками на подводку электричества, газа, воды, канализации, дороги... И он горько пожалеет, что не согласился на их правила игры, ведь они будут предлагать ему полный пакет услуг.. за счет городского бюджета. Представляешь, какая маржа у них! Триста—четырееста процентов прибыли! Никакой «нефтянке» такое не снилось! — Ле-ха становился с каждым словом все мрачнее и мрачнее.

— И что, все соглашаются?

— Практически все... Тот, кто упрямится, отдает еще больше, попадая в лапы «несистемных» подрядчиков, которые за ту же подводку коммуникаций заламывают астрономические суммы... Опять же почему? Да потому, что они отстегивают через посредников тому же Крошкину половину прибыли... Иначе лишится ментовской крыши и их в бараний рог свернут бандиты. В общем, все идет на контакт с жуликами от власти, оно так надежнее.

— И что, нельзя этого Крошкина со всеми его «землеустроителями» за одно место взять?

— Нельзя! — с оттенком превосходства, как немысленно, бросил мне Ле-ха.

— Да они просто не нарывались еще! — разошелся и я.

— Нарывались и нарываються, — злобно оскалился Ле-ха, — только не ухватишь их... они на прямую денег не берут!

— А кто же берет?

— Бульдозерист Вася! — скорчил физиономию Ле-ха. — Тут такие схемы, что Крошкина, как говорила моя бабушка, пестом в ступе не ухватишь... вынырливый гад!

— И что мне сказать Васильеву? — растерялся я. — Может, не надо всю эту кашу заваривать! Ведь крайним окажется — кто?

— Пусть оформляет все строго по инвентаризационной стоимости, — процедил сквозь зубы Мальков.

— Но ты же сам сказал — замордуют...

— Со мной у них с их грязными схемами не пройдет, — выдвинул вперед свою массивную нижнюю челюсть Мальков, — я этого Крошкина-Вошкина!.. — ударил он резко обеими руками по баранке. — Я его предупредил сегодня, заметил? Он все понял, кровосос неумный!

— А верно говорят, что у него семь квартир в Москве? — вспомнил вдруг я.

— Шесть. Зачем лишнее приписывать, — недобро усмехнулся Мальков, — последнюю прикупил совсем недавно... не знает, на кого теперь записать, все родственники — ближние и дальние, уже давно задействованы... жуть! По слухам, его дочка даже предлагала какой-то бедной сослуживице, приехавшей откуда-то из Новосибирска, за хорошие деньги на себя эту квартирку оформить... Есть у него апартаменты и в Испании.

— А история с каким-то породистым скакуном для внука? Это не выдумки завистников и сплетников? — продолжал «вспоминать» я.

— Ты и про это знаешь?! — хмыкнул Ле-ха. — Узнаю почерк Феодосия Палыча... Все верно, подарил наш Крошкин лошадку благородных кровей — три «Мерседеса» — своему внучонку на пятилетие... Говорят, мальчишку готовят в какой-то престижный колледж в Англии, как же тут без коняшек! Ведь они же у нас теперь все в аристократы метят!

— Он из каковских, этот Владимир Поликарпыч Крошкин? — решил я почему-то узнать об этом не-приметном казнокраде как можно больше.

— Из каковских? — переспросил, ухмыляясь, Мальков. — Да, как и все мы, из столбовых крестьян! Еще при коммунистах приехал сюда после сельхозинститута то ли из Вологодской, то ли из Костромской губернии... В совхозе, куда его направили инженером, ишачить не захотел, пристроился в райисполком, дополз до зампреда... После великой буржуазной революции девяносто первого стремительно перекрасился в демократа; так поносил на всех митингах коммунистов, что от него шарахались, зажав носы, даже записные либералы... Но там, где надо, заметили, выбрали-назначили главой администрации... типичная карьера постсоветского перевертыша! — Ле-ха выругался. — И почему тогда либерасты не пошли на люстрацию! Всех этих крошкиных надо было в мусорный совок замести и на помойку истории выбросить! Меньше бы гнили было сейчас от этих плебеев, дорвавшихся до власти и денег!

— Так уж и плебеев? — почему-то задело меня.

— Я не об этом! — отмахнулся Мальков. — Я не о происхождении... Вот их вытаскивали к власти еще и при поздних коммунистах по формальному признаку — рабоче-крестьянское или какое другое «правильное» происхождение, член партии, не пьет-не курит, — а не понимали тогда, что это категории вчерашнего дня, что уже другой критерий отбора диктовала эпоха.... И они все, эти детки рабочих и крестьян, как и партноменклатуры, жаждущие сытой начальственной жизни — плебеи по духу, — полезли паразитами на дородное государственное тело... Они очень рано были сориентированными, они были умненькими, в них не было потребности идеального, они были жадными глотателями жратвы, привилегий, удобств, — и в этом смысле опять же плебея-

ми! — они жаждали только материального успеха. За дачи, загранпоездки, шмотки и иномарки они, не чихнув, сдали прежнюю власть. Теперь заражают и отравляют своим гниением, подталкивают к пропасти нынешнюю.

— Ты сказал, другой должен быть критерий отбора во власть?

Леха нарочито пропустил мой вопрос мимо ушей.

— К началу семидесятых классовый подход при отборе во власть, считаю, полностью изжил себя! — быстро заговорил он. — Общество кардинально переродилось, революционный энтузиазм полностью исчерпал себя, шестидесятничество, как последний всплеск революционной романтики, боязливо уступало дорогу жесткому диссидентству, когда в очередной раз в истории России начали вызревать мысли о радикальном сломе государственного строя. Страна стояла на развилке. И чтобы спасти великое государство, которое к тому времени очистилось от парши марксизма, важно было призвать во власть новых идеалистов, революционеров-государственников, людей, готовых повести страну не к какому-то там мифическому коммунистическому обществу, а к мировому лидерству в ведущих областях социально-экономической, научно-технической, гуманитарной мысли. Повторяю, страна перебродила к тому времени марксистской химерой, переболела ею, переварила и пережгла в себе. Во власть нужно было набирать супертехнократов, суперинтеллектуалов, суперпрофессионалов, готовых с новым энтузиазмом служить постиндустриальной суперимперии, в которую в то время стремительно превращалась Красная Империя. И это бы дало жизнь Великой России еще на тысячу лет вперед!

— И какой же критерий должен лечь в основу отбора во власть? — с вызовом переспросил я.

— Критерий один — нестяжательство! — принимая вызов, бросил Леха и, притормаживая машину, искоса наблюдая за мной, скривился в насмешливо-покровительственной улыбке.

— Критерий твой — фантом, чушь! — сказал я, с трудом сдерживая себя. Лехина улыбочка, в очередной раз понял я, вызывала у меня изжогу. — Критерий, не поддающийся никакому внятному определению... стяжатель-нестяжатель... по количеству костюмов у человека, чайных сервизов, пар обуви, кепок, шляп и галстуков будем определять?

— Э, нет, тут ты пургу гонишь... из чувства противоречия, должен заметить... капризничаешь, старичок, — со вздохом согнал улыбочку с лица Леха, — тут все сложнее и проще одновременно.

— Ну, и?! — гневно вскрикнул я.

Леха остро подцепил меня краешком глаза и мягко отступил.

— Достаточно проследить за любым выдвиженцем, даже самым незначительным пупырьком, типа Крошкина, в течение двух-трех первых лет, — как ни в чем не бывало равно заговорил он, — и все становится ясным — пришел этот выдвиженец служить стране и государству или набивать брюхо и

мошну себе и близким. Если, не подняв ни одного гектара заросших бурьяном земель, не открыв ни одного нового производства, не проложив ни одного метра новых дорог, не прибавив ни на копейку зарплату людям, начал живенько возводить себе расписной теремок в три этажа, покупать недвижимость, разворачивать собственный бизнес, записанный на жену, тещу, племянника, назначать себе любимому фантастические оклады — такого надо гнать в шею. Он заведомо не годен для государственной службы. Он порочен, неизлечимо болен стяжательством. Вокруг него образуется не точка роста, а очаг гниения. Такого выдвиженца следует безжалостно удалять, удалять пожизненно, без права второй попытки...

— А если он затается и начнет грести под себя не в начале, а в конце карьеры? Что делать тогда?

— Не начнет! — жестко рубанул Леха. — На это должен быть закон — на одном вельможном кресле восседать не более двух сроков, лет восемь—десять! За это время можно показать, на что ты способен как руководитель, — это главное, но, если начнешь под занавес этого срока набивать себе карманы, — всё, дальнейшего продвижения не жди, твоя карьера государева человека обрывается навсегда!

— Круто, — тут уж не удержался от сарказма я, — и за что государевы люди пахать будут? За голый оклад? Так не бывает! Все разбегутся!

— За власть! — озлился Леха. — К власти всегда будет выстраиваться очередь, даже если в конце очереди будет ждать всего лишь чашка похлебки... Только успевай выбирать достойнейших! И этой слабостью человеческой при выстраивании государства надо пользоваться. А мундир, шитый золотом! Ордена, и награды, и прочие цацки! Президиумы! А счастье быть в свите или со свитой! А раболепие подчиненных! За такие сладкие пряники люди обычно не разбегаются, а, наоборот, втаптывая друг друга в грязь, по головам бешено карабкаются наверх. Во власть! Вот эту психологию человека надо учитывать! — распалялся Леха. — Стяжателей безжалостно выкидывать с насиженных мест, казнокрадов сажать жестко и надолго, чаще ротировать и взбадривать проверками чиновничье племя! Не бояться, что разбегутся. На место убежавших встанут в очередь сотни жаждущих власти. Не бояться, что окажут сопротивление, составят заговор, — они трусливы. И если их почаще, как сорняки на грядке, пропалывать, сбиться в стаю они физически не смогут.

— Вопрос, кто их будет пропалывать? — прервал я горячую речь Малькова.

— Резонно, — неожиданно согласился Леха и, бросив на меня быстрый взгляд, осторожно сказал: — Ты прав, главный вопрос — кто будет чистить эти авгиевы конюшни — государство или?... Глухая круговая оборона... Все: прокуратура, полиция-милиция, верхушка райсовета — все увязли в грязном криминально-воровском вареве. Давно уже поделили с бандитами наш городок на сферы влияния,

крышуют рынки, торговые центры, лавчонки и прочий мелкий бизнес, рейдерствуют... Самый занюханный чиновник, самый последний мент — все имеют долю в отъеме денег у государства и торгашей — других денежных источников здесь нет... по причине умертвления производства. С областными наш Крошкин тоже дружит, отстегивает и губернатору через посредников... Все прогнило — просто караул! Но самое главное — его московские покровители. Тут надо было так случиться, что один депутат, парламентский, — твой Васильев его, верно, знает, — с большими связями, из наших мест... родился под Свободным... Они с Крошкиным наладили серьезный бизнес — коттеджное строительство на границе со столичной областью... Пахотные земли, сотни гектаров, нагло выводят из севооборота, продают московским фирмам под коттеджи. Наваривают миллионы... Ну, как этого Крошкина возьмешь, он часть воровской вертикали уже на общегосударственном уровне! Выходит, — помолчал Мальков, — к самоочищению государство уже не способно. Остается что?

Я замер. Мы подъехали к дому. За забором игровой зеленел симпатичный особнячок. Леха прихватил меня за руку и не дал выскользнуть из машины, наклонился ко мне и, засверкав у самого лица бритвами сузившихся ястребиных глаз, заговорил быстрым полупшепотом:

— Остается надеяться, что их решительно и безжалостно срежет народ. Они допрыгаются, их будут рвать на куски, как в семнадцатом! Они не знают истинных настроений в народе. А люди, особенно здесь, в исконно русских областях, давно уже поняли — их оставили на вымирание. Все социологические замеры фуфло! Людей достала тотальная несправедливость, превращение их в быдло! Людям ненавистно горбатиться на так называемых хозяев. Они устали от бесперспективности, когда, сколько ни работай, никогда не заработаешь на квартиру, не дашь детям серьезного образования, не проживешь на пенсию! Наша экономика в коматозном состоянии! И это на фоне какой-то неслыханной, дикой роскоши всех этих власть имущих, казнокрадов чиновников, аферистов, деляг. Ненависть накопилась в народе страшная! Уровень ее никакие справки не передадут, ее можно уловить только кожей, соприкасаясь вплотную, ежедневно с массой народной. Скоро она вырвется, — вплотную приблизился к моему уху Леха, — и тогда держись кровососы всех мастей! Отмщение будет страшное! Не веришь?! — больно сжал он мою руку. — Подожди, еще увидишь! Скоро, очень скоро мы станем свидетелями нежданного, неслыханного взрыва... — на этом месте Леха словно опомнился и заметно деланно сконструировал окончание фразы, — народной ярости и гнева!.. А теперь иди, любуйся... мои архаровцы работать умеют! — довольно грубо подтолкнул он меня из машины и, не дождавшись, пока я закрою дверцу, резко тронулся с места.

«Маньяк! — ударило меня в голову. — И угрозило же меня связаться с ним!» Взглянув на свой неузнаваемый домишко, вспомнил, что забыл спросить у Лехи смету расходов на ремонт. Хибара моя стояла как невеста на выданье. Обшитая светло-зеленым сайдингом, она удивительно похорошела, подобралась, стала как-то выше и респектабельнее. Вполне себе недурственным особнячком уже смотрелась. «Смету надо завтра жестко потребовать, — подумал я, — решительно!»

Я обошел вокруг дома. Ничего не скажешь, работа была проделана качественно — ни одного небрежно подогнанного уголка, ни единой, самой малой щелки между панелями, все смонтировано аккуратно и красиво. Было уже около восьми вечера. Но в подвале еще работали. Тонким, впивающимся в уши визгом заходила циркулярка, бешено въедалась во что-то очень твердое дрель, затаенно резонировала под ногами земля от перфораторов. Я стоял с глухой стороны дома к реке. «Странно, — подумалось, — почему вибрирует земля даже в нескольких шагах от дома, неужели такие глубокие шурфы бурят?» Но голова моя была занята другим. Я думал о Лехе и решал, приглашать или не приглашать на завтрашнюю встречу с Мишей Васильевым Никонорова. «Может, прав Леха, разнесет всё потом по округе...» Побродил в саду, прикинул и набрал все-таки по мобильному Феодосия Павловича.

5

Ночью неожиданно обрушился на город тяжелый, секущий ливень. Над домом разыгралась настоящая стихия с хлесткими, порывистыми накатами ветра и воды. Мне снился сон — я над пропастью. Я трепещу. Я замираю. Я на волоске от гибели... Я резко, с вздрагиванием, проснулся. Дождь громко вбивал тысячи гвоздей в пластмассовые рейки сайдинга. Прежде такая непогода только уютно шуршала по камню толстых стен. Располагала к покою и сну, если случалась ночью. Теперь она будила и пугала. «Надо было стены просто покрасить, — с тоской подумал я, — кому нужен этот дурацкий барабан из пластмассы... И все Леха!» Тревога от дурного сна сливалась с тревогой ночи. Бессонная маета на два три часа теперь обеспечена. Я знал себя. Стоило произойти разрыву сна, особенно под утро, ворочаться потом приходилось часами. Со мной это обычно происходило от какого-то внутреннего перегрева. Нервишки у меня, признаюсь, дрянь. Если меня что-то заводило, то доводило потом до самоедского изнурения. А заводило меня в этой, быстро набирающей невинный, мутный оборот истории многое, даже чрезмерно многое... Зачем эти, однозначно маскируемые, отношения Лехи с главным военным из Заречья? Что стоит за его неожиданными откровениями о каком-то народном гневе? Озлобление неудачника? Комплекс провинциального «человека из подполья»? Ведь турнули же его из Москвы, хотя,

поначалу складывалась совсем иная карьера! Или это просто, присущая ему с юности, игра в оппозиционность? Но уж больно радикальная эта оппозиционность, вспоминал я злобный Лехин полушепот. Зачем я понадобился ему во всей этой истории с часовней, если командир части был уже у старца и тот не без успеха ходатайствовал у самого Святейшего? Почему так вцепился он в приезд ко мне Миши Васильева? Я извелся вопросами, извертелся в постели, несколько раз вставал, глядялся в затихающую бурю за окном, пил теплую воду с медом — где-то читал, помогает от бессонницы. Не помогало. И еще этот страшный, не сулящий ничего хорошего, сон. К снам я отношусь серьезно... С трудом заснул, когда комната стала наполняться серой размытостью предрассветных сумерек.

Поспать не дали. По ощущениям, где-то часа через три-четыре заелозил-завибрировал на гладкой поверхности письменного стола мобильник.

— Стучу, не слышит... ну и здоров же ты дрыхнуть! — раздался в трубке Лехин голос.

— Который час? — буркнул я. Состояние было скверное. Болела голова.

— Скоро десять, — недовольно отозвался Леха, — как бы твой приятель не подкатил... Я угощения привез. Вставай.

«Кто тебя просил!» — едва не сорвалось у меня. Наскоро умылся, оделся и вышел к Малькову.

Утро выдалось пасмурное, холодное. Дождь прошел. На дворе стояли прозрачные лужи. С деревьев капало. Леха наломал веник из вишенника и счищал воду с нападавшими листьями со стола под липами, расставлял полиэтиленовые пакеты с продуктами. Одет он был соответственно погоде и обстоятельствам — в толстую байковую ветровку с капюшоном.

— Как-то неуютно тут после дождя. Может, сразу к Вадику, в теплый теремок? — предложил Леха. — Обед уже заказан.

— Скоро подсохнет, — попытался скрыть раздражение я. Меня завело, что он уже и обед заказал. — Сколько я должен? — грубо сорвалось у меня.

— За что? — чутко ошетинился Леха.

Я вспомнил свой решительный настрой вчера.

— И за это, и за то! — показал на продукты и на дом.

— Ну что ты за человек! — кисло сморщился Леха. — Благородное общее дело затеяли, а он со своим самолюбием, уязвленным, как ему кажется, лезет. Пойми, для меня это копейки... Но дело не в этом — ты искренне откликнулся на мое предложение, тебя даже на секунду не посетило желание что-то с этого поиметь. Я же вижу! И мне это нравится. Вот это и есть нестяжательство! Вот таких, как ты, надо во власть... Для тебя я все делаю от души, как... правильно человеку. Хотя, как ты понимаешь, я далеко не альтруист... я привык брать, а не отдавать. Даже не брать, а забирать. Забирать, отбрасывая все сантименты. Старец-то твой позавчера меня быстро раскусил, я это почувствовал. Не люблю я этих ду-

шеведов! — в сердцах бросил Леха. — И без них тошно... Ты думаешь, легко заниматься нашим сраным российским бизнесом? Он весь построен на обмане, подлости и насилии. Зачем нам эта запоздалая отрыжка капитализма! Капитализм не прививается у нас, народ его отвергает. Наши люди не хотят жить только ради денег. Они действительно устроены по-другому, у них другая духовная природа. Великий вселенский эксперимент — одни народы за Мамону, другие против... Наш народ, однозначно, против! Поэтому так ничтожен процент у нас тех, кто занимается наживой, этим так называемым бизнесом... Поэтому так нагло орудует в стране кучка мародеров, выводя из нее капиталы, ресурсы, обескровливая страну. Народ с недоумением и ужасом взирал на шайку разгулявшихся, меры не знающих воров — когда же это все прекратится?! Но, похоже, недоумение проходит. И все чаще люди спрашивают, — Мальков порывисто прижал руку к сердцу, — поверь, я знаю это точно — слышал в самых доверительных разговорах тысячи раз... все чаще люди спрашивают — а, может, всю эту банду пора поставить на место? Жестко поставить! Как может это сделать только доведенный до отчаяния народ!

— Леха, а может, ты все это придумал? — как можно мягче спросил я, не без тревоги вслушиваясь в неожиданные с утра пафосно-обличительные речи Малькова. — Согласись, при этом капитализме что-то же делается, и немало людей в него вовлечено... Вот едешь из Москвы, вдоль дорог завязывается новая логистика — склады, торговые центры, заправки, кафешки. Сколько новых добротных домов поставлено... люди строят для себя капитально, на века. Это уже не извечные наши серые избы... Оборонный комплекс оживает. Может так — исподволь, без рывков и лишнего шума все и поправится? И лет через пятнадцать-двадцать миру предстанет Россия обновленная, сильная и ухоженная? Может, не стоит поднимать волну в очередной раз? Как бы последнее не потерять. Может, стоит раз и навсегда успокоиться и жить, как все? Что тут еще кроме капитализма придумаешь, когда с социализмом не получилось?

— И я так думал, Кирилл, — живо отозвался Леха, — до поры до времени, правда... — криво улыбнулся он. — Когда вошел в круг хозяйственников, политиков, разных там влиятельных людей, возмечтавших о национальном, производящем и строящем, капитализме... Но нас смяли, жестко предупредили — в большую игру не суйтесь, курс другой...

— После чего твой дядя, который к тому времени уже работал в Администрации порекомендовал тебе удалиться из Москвы? — неожиданно сказал я.

— Всё знают столичные журналисты, просто жуть... — насторожившись, усмехнулся Леха. — И мудро поступил, надо отдать ему должное, — перевел он усмешку в подобие улыбки на лице, — иначе я бы не беседовал с тобой тут... мог и на нарах очутиться... придрались бы к чему-нибудь, я же и в Москве купечествовал...

— Давно хотел спросить, как зовут твоего непростого дядю? Он по-прежнему... во власти?

— Как зовут, это тебе вряд ли что-то скажет, — уклончиво сказал Леха, подумал и почему-то добавил: — ну, Шатров... Николай Всеволодович... Ему уже под восемьдесят, какое во власти! Кстати, собирается написать что-то вроде мемуаров... как с Борисом Николаичем подружился, как работали вместе, ну и все такое прочее. Ищет в помощники толкового журналиста, может, ты попробуешь? Он вообще-то при деньгах.

— Вряд ли, — отмахнулся я, — быть литрабом, не мое... пробовал. Исполнять графоманские прихоти вельможных старичков — это все равно, что горшки из-под тяжелобольных таскать.

— Хорошее сравнение, — рассмеялся Леха.

«Шатров, Шатров, — завертелось у меня в голове, — где я слышал эту фамилию? Совсем недавно, что-то очень знакомое...».

— И какой же курс, по-твоему, выбран, как ты говоришь, в большой игре? И кто его выбрал? — вернулся я к Лехиной недосказанности.

— Курс один, — посуровел Леха, — вступление в капиталистический интернационал, так называемое встраивание России в мировой рынок, международную систему хозяйствования... И выбрала его неизменная в своей сущностной основе, с начала девяностых пребывающая у власти узкая корпорация людей, своего рода секта, спаянная единым мировоззрением, единой волей, едиными задачами.

— Насчет секты не знаю, — пожал плечами я, — а вот то, что существует международное разделение труда, так это еще со времен Маркса известно, и Россия для того, чтобы жить, должна занять свое место на мировой финансово-производственной площадке. Что тут не так?

— Вот, именно — на финансово-производственной... — Леха выделил голосом последнее слово, — мы должны предложить миру то, что мы умеем производить, — снова подчеркнул он, — что умеем делать! Делать качественно, на высшем уровне, так, как ни у кого больше не получается! Понимаешь?

— И что же? — наверное, глупо спросил я.

— А то, что вот уже двадцать пять лет, двадцать пять лет! Вдумайся в эту цифру! Россию упорно и методично превращают в сырьевой придаток этой пресловутой международной системы хозяйствования! — взъярился Леха. — Ни о каком производственном развитии России, о ее месте на мировом рынке высоких технологий, инноваций, прорывных идей и речи не идет. Наоборот, мы все меньше производим, все больше продаем сырья, все больше завозим. И этому нет конца! Мы умираем! Как высокоорганизованное, высокоинтеллектуальное сообщество! Ты говоришь, что, может, вот так потихоньку-полегоньку, не прикладывая особых усилий, мы лет эдак через пятнадцать—двадцать собьем маслице, как та пресловутая лягушка в сметане, и явим миру лицо новой, передовой, развитой, с иголки,

России. А я тебе говорю, что с такой усыпляющей философией дела, с такими приоритетами, с таким воровством и безответственностью чиновников, с таким накатом разграбления национальных богатств, как сейчас, через двадцать лет России не будет! Будут дымящиеся развалины! Верные и последовательные практики той модели развития, которую нам предложила в начале девяностых преступная секта так называемых реформаторов, продолжают с маниакальной методичностью затягивать смертельную петлю на шее великого народа. То, что ты говоришь про какое-то оживление вдоль больших дорог, логистическую инфраструктуру, новые постройки, дома и прочее, все это лишь слабые пунктирные признаки жизни, едва заметное шевеление умирающего гигантского тела. Но нас еще не додумали. И мы должны, собрав последние силы, волю и мужество, разорвать удавку, задышать полной грудью! Сейчас или никогда! Прочь, морок медленной смерти, подслащенной пилюлями о мнимом возрождении, стабильности и духовных скрепах! Пора решаться! Пора действовать!

На последних словах ястребиные глаза Лехи стали темными и засверкали. Он выпятил вперед и без того выдающуюся нижнюю челюсть и стал как-то смешно похож на один исторический персонаж. Вылитый дуче! Впору было рассмеяться, но тут, похоже, было не до смеха. «Точно, больной! Безумец... такой может решиться на все», — вновь тревожно шевельнулось во мне. На что «на все», объяснить я бы не смог. Я только почувствовал, что Леху распирает какая-то сильная, овладевшая им полностью идея и что сейчас, именно вот сейчас, в нем все трепещет и вибрирует в желании выпалить ею. Пусть даже потом он тысячу раз раскается, что по мимолетной слабости и тщеславию посвятил меня во что-то очень важное и скрываемое от всех, но уж очень остра и значима для него была идея, чтобы не искушаться познакомиться с ней и других. Он кривился и кусал губы. Овладев собой, принялся раздраженно выкладывать снедь из пакетов. Спасительная пауза разлилась в воздухе.

А между тем распогодилось. Вот-вот должно было прорезаться сквозь остатки туч солнце, стало заметно теплее. Деревья бодрее зашумели подсыхающей листвой. Почему-то не шел Феодосий Павлович, хотя мы вчера договаривались где-то на одиннадцать. Я сходил в дом за клеенкой и скатертью, прихватил заодно и домотканые деревенские половички, бог весть откуда взявшиеся у нас, чтобы накрыть отсыревшие скамейки у столика.

— Шатра не хватает, — с нарочитой внимательностью поглядел на небо Леха, — у меня где-то валяется непромокаемый дома. Может, сгонять?

И тут мне вспомнилось: Шатров! — была фамилия командира из Заречья.

— Не успеем, пока ты съездишь, пока твой ша-тер натянем... тут Миша подкатит... только лишнюю суету разводить. Слушай, — вдруг сказал я

как-то помимо своей воли, — главный командир из Заречья — Шатров, твой дядя тоже Шатров... фамилия не частая... И говорят, вы с военным похожи, как братья...

— Сам догадался? Или твой старец-ясновидец узрел! — злобно ощерился Леха.

— О чем догадался? — не сразу понял я.

— Брось дурака валять, Кирюха! — резанул взглядом Леха. — Ну, брат он мне! Родной, по крови, брат!

— А почему фамилии разные? — только и нашелся, что сказать я.

— Родители развелись, когда мать была уже беременна Бориской, — нехотя, морщась, отозвался Леха, — когда брат родился, дала ему свою девичью фамилию... как и у ее родного брата, моего дяди... Шатров.

— Никогда не слышал, что у тебя есть брат. И ты никогда не говорил... странно, — пожал плечами я.

— Да как-то не приходилось... Борька с раннего детства жил у дяди, тот был бездетный и практически усыновил брата. Ну, в общем, — стал как-то поспешно закругляться с откровениями Леха, — вырос Бориска в Москве, здесь появлялся редко... В Москве он и школу закончил, и в престижное ракетное училище поступил... элитный мальчик...

«Бориска, Борька, элитный мальчик...» — какое-то пренебрежение и легкая ирония звучали в словах Лехи, когда он говорил о брате. А между тем братец-то Лехин, получалось, действительно был командиром нашей ракетной дивизии в Заречье. Генеральская должность. Особая ответственность. То, что в лесах за рекой стоят в шахтах ракеты стратегического назначения, с ядерными боеголовками, в городке было известно даже младенцу в люльке. Так что, выходило, большой человек был этот Бориска. Завидует, похоже, Леха более успешному младшему брату, вот и небрежничают, — было мое первое ощущение от всей этой любопытнейшей истории.

— Однако ты конспиратор, — может быть, излишне серьезно, может быть, даже мрачно, сказал я. Для пользы дела надо было как-то повеселее, полегче обойтись в эту минуту с Лехой. Глядишь, и еще что-нибудь интересное рассказал бы...

Леха на мгновение растерялся, но, быстро овладев собой, с вызовом посмотрел на меня:

— Хочешь сказать, втемную использую тебя?

Меня неприятно кольнуло это — «втемную... использую». В Лехином вопросе, в той интонации, с которой он был задан, звучало и некое утверждение, некий подтекст, и определенный положительный ответ. Так показалось мне, и я завелся с пол-оборота.

— Зачем я тебе нужен? — вскинулся я. Из меня так и поперла ночная бредятина. — Ты темнишь, хитришь! Вся эта история с часовней! Твой брат был у старца с письмом, тот ездил к Патриарху — все может решиться и без меня... Ты же знал об этом! Зачем тебе я понадобился?!

— Брат был у старца? — ошолбенел Леха.

— Да, старец мне об этом рассказывал...

— Зачем? Зачем он это сделал?! — простонал Леха. — Мы же договаривались, только письмо с нарочным!

— О-о, а здесь кипят шекспировские страсти на фоне новых декораций! — Калитку с улицы отворял Феодосий Павлович и показывал рукой на обновленный сайдингом дом. Леха потускнел и выразительно посмотрел на меня. Мне стало стыдно за вчерашнее эмоциональное решение пригласить все-таки Никонорова как бы наперекор Лехе, а более всего я почувствовал себя неловко за неприличные мыслишки столкнуть их при встрече, чтобы хоть как-то прояснить темно и невнятно складывающуюся, но в чем-то вдруг приоткрывшуюся, общую ситуацию. Я подумал было извиниться перед Лехой, но вместо этого тихо, пока не подошел Феодосий Павлович, промямлил что-то банальное о том, что гостя из Москвы предстоит угощать не только лангетом у Вадика Кригера.

— Делай что хочешь! — махнул обиженно рукой Мальков и, сухо поздоровавшись с подошедшим Феодосием Павловичем, принялся нервно расставлять бутылки на столе. Какое-то нетерпение вселилось в него с этого момента, весь оставшийся день и вечер, вплоть до расставания в глухой ночи, мне казалось, он подгоняет время, чтобы как можно быстрее разрешить для себя какую-то неожиданно появившуюся, острейшую проблему.

Феодосий Павлович, облаченный в куцый, тесноватый плащик откуда-то из семидесятых прошлого века, в беретке с хвостиком на макушке, с развевающимися на ветру седыми космами, в высоких резиновых сапогах, производил впечатление фрикаватое. Во мне ворохнулось сожаление, что я пригласил его. Впрочем, это чувство было весьма мимолетное, в целом я всегда был рад старику. Едва мы успели перебраться с ним парой фраз — он одобрил обшивку дома сайдингом, похвалил цвет, — как у ворот остановился забрызганный грязью темно-синий внедорожник и над невысокой изгородью со стороны улицы замаячила лохматая, с хищным профилем голова Миши Васильева. Было около двенадцати. До встречи с Калеватовым оставалось два часа. Можно было еще и посидеть, расслабиться.

Надо отдать Мише должное — умел вписаться в любую компанию. Просто и без затей он как-то разом заговорил со всеми. Хорошо вязал разговор. Ничего не скажешь, школа. За столом тоже не чинился. Выпил несколько рюмок водки. Решили, что он заночует у меня, а за рулем будет Леха, которому, было понятно, местные гаишники не указ. Памятуя, как жадно Мальков ухватился за возможность познакомиться с Мишей, я боялся, что он прилипнет к гостю, начнет оказывать чрезмерное внимание, демонстрировать то навязчивое гостеприимство и радушие, которые вызывают только раздражение.

Но нет, Леха был сдержан, немногословен. Суховато изложил Васильеву суть проблемы с часовней и с какой-то правильной грубоватостью намекнул, что

делу могло бы очень помочь письмо Мишиного шефа в Минобороны. Миша пообещал. Решили, я сочиню «болванку» ходатайства и переброшу по электронной почте Мише. Леха изобразил на лице неподдельную радость. Но мне показалось, он как-то сразу невзлюбил Мишу, насторожился. Хотя, повторяю, вел себя безупречно.

Феодосий Павлович, как ни странно, больше отмалчивался. Он слегка захмелел и потяжелел, но компанию в целом не квасил. Изредка вставлял в разговор что-то правильное и весомое. Пробовал рассказывать о Свободобоярке, но не пошло. Миша наблюдал за ним с веселым интересом, но без свойственной ему в таких случаях ироничности. Между ними намечалось что-то похожее на симпатию. На Леху мой гость незаметно взглядывал остро и оценивающе.

Когда выпили достаточно, Миша предложил мне проветриться и познакомить его, как он выразился, с «имением Прилукиных». Я показал ему дом, сад... Спустились по косогору на берег речки.

К полудню заметно разгулялось. Солнце и ветерок быстро сушили землю. От подпревающей с корешка травы потягивало чистыми запахами предосенья. Весело отпевали лето кузнечики. Становилось жарко. Миша снял дорожную кожаную куртку.

— Хорошо у тебя здесь... хорошо! — с чувством сказал он, потягивая тонким горбатым носом воздух. — И что я к тебе раньше не приезжал — благодать какая! Студентами, помнится, ты меня не раз приглашал... И сколько у тебя землицы тут?

— Полгектара... Тебе предложат полтора-два, там, — показал я ему рукой вниз по течению, — среди сосен, с выходом к реке — живописнейшее место!

— Полтора-два гектара? — переспросил Миша. — И что мне с ними делать?!

Странная реакция Васильева, признаюсь, меня озадачила. Обычно в таких случаях люди меры не знают — чем больше, тем лучше.

— Если тебя что-то по цене напрягает, — тоном знатока сказал я, — то по инвентаризационной стоимости это выйдет недорого. Мальков, тот, который с челюстью... подскажет, как надо делать.

— Посмотрим, посмотрим — уклончиво протянул Миша. — А что за фрукт этот Мальков? — как бы между прочим вкрадчиво спросил он.

— Местный предприниматель, у него тут серьезный строительный бизнес, — сказал я, — мы приятели еще со школы... — Мишина вкрадчивость меня насторожила, распространяться особо я не стал. — Между прочим, если решишься здесь строиться, лучшего подрядчика не найдешь — сделает все на совесть и... лишнего не возьмет, — зачем-то приврал я, вспомнив рассказ Феодосия Павловича, как Мальков делал ремонт в редакции.

— Как тебе? — насмешливо посмотрел на меня Миша.

«Откуда он знает? Странно, — подумал я, — за столом об этом вроде бы речь не заходила».

— И как мне, и как многим другим... он тут каждому второму что-то строил.

— А что ему далась эта часовня? — задался неожиданным вопросом Миша. — Денег она не принесет...

— Говорит, вояки попросили, — пожал плечами я.

— А он не отказал, — заиграл своими коричнево-шоколадными, с искрой, всегда непроницаемыми, глазами Миша, — филантроп, значит?

Я промолчал. По каким-то неуловимым признакам в Мише угадывалась определенная осведомленность. Казалось, он что-то знает и к чему-то уже подготовился. И это понуждало меня к сдержанности.

— А вот старик — забавен, — неодобрительно пощупал меня взглядом Миша, — интеллигент, философ, краевед. Такой должен втайне от всех роман-эпопею ваять... глыба, мощь уездного разлива.

— Очень неплохой журналист и, без иронии, действительно интеллигент, — сказал я, твердо решив особо не распространяться, — учил меня писать, я был у него в отделе юнкором.

— Вот как... старик Державин нас заметил... — механически отозвался Миша.

В монастыре зазвонили к обедне. Колокольный звон густым эхом докатился до нас по реке.

— Я слышал, в вашем монастыре появился новый старец, — сказал Миша, вслушиваясь в басовитую речь колоколов, — интереснейший, говорят, человек и zelo премудрый. Вот бы с кем познакомиться. — Васильев бросил на меня испытующий взгляд. «Знает, всё знает» — подумал я.

— И чем же он интересен, этот старец? — спросил я как можно беззаботнее.

— Ну, как же, — ответил, усмехнувшись, Миша, — живая история, можно сказать... да еще какая! Был алтарником в походной церкви власовской армии... вместе с небезызвестным протоиереем Александром Киселевым, так сказать, окормляли, — в голосе Миши зазвучали ироничные нотки, — «третье силу»... После войны не стал искушать судьбу, скорее всего перебрался из Германии за океан, как и большинство недобитых, недоваданных власовцев...

Договорить нам не дали. На косогоре появились Леха с Никоноровым. Леха энергично показывал на часы. Пора было отправляться на встречу с Калеватовым.

...Мише предложили, на мой взгляд, роскошный участок. С высокого, чистого увала, заросшего соснами (мы насчитали за полсотню высоченных, золотистых красавиц), открывались неповторимые дали Заречья. Это, если смотреть на восток. На юг лежал как на ладони сказочной картинкой монастырь с его золочеными главками церквей и зелеными шатрами сторожевых башен. На север хорошо просматривался наш городок, тоже весьма живописный издалека. Чего еще желать? Участок, как и договаривались у Крошкина, выходил широким пойменным лугом к самой реке, в этом месте с естественными песчаными отмелями. Какой можно будет пляж оборудовать!

И участок, умно наблюдая за Мишей из-за дымчатых стекол очков, Калеватов пообещал прирезать еще на полгектара.

Все дружно советовали Мише соглашаться. Тот, приговаривая «чудесно, чудесно!», мерил широкими шагами участок, словно прикидывая план будущего владения. Вспоминая потом этот эпизод, я подивился особенной ловкости Миши и благодарное расположение к сделке проявить, и не сказать при этом ни да, ни нет. Калеватов даже какими-то бумажками начал шуршать из папочки, которую носил с собой, плотно зажав под мышкой. Миша, говоря «роскошно, роскошно!», вертел бумажки в руках, задумчиво возвращал и спешил осмотреть «свой» берег реки. Мы все были слегка под хмельком, ничего не замечали, в унисон нахваливали место. Только один раз Леха — он пил весьма умеренно, все-таки за рулем — пристально всмотрелся в Мишу. Мне показалось, он понимает, как мог только он, ухмыльнулся. Но это была какая-то секунда, миг. В целом Леха, как и все, вел себя радушно и деликатно.

Но вот Миша по ходу встречи повел какую-то свою игру. Впрочем, это были заметы ума моего уже нетрезвого, размягченного приличной дозой спиртного... Васильев аккуратно, исподволь стал сближаться с Лехой, демонстрируя ему свое самое дружеское расположение. Отчего Феодосий Павлович, как мне показалось, немного возревновал и на время капризно замолчал со своими историями о былом величии Свободы. За обедом «У Вадика» Миша даже предложил тост «за вечную соль земли русской — ее нынешних, национально мыслящих предпринимателей, будущих мамонтовых, морозовых, рябушинских, которые со своим национальным капиталом выведут Россию на новые высоты процветания и могущества». Чего было больше в Мишиных словах — желания подольстить почему-то Лехе, издевки или какого-то скрытого смысла, — я сразу не разобрался. Пожалуй, было в них и то, и другое, и третье... Но, странное дело, Леху Мишин тост растрогал. Я бы даже сказал — пронял! Я не верил своим глазам, обычно холодноватый, насмешливо-отстраненный, Леха разволновался и чуть ли не полез к Мише с объятиями. С трудом сдерживая дрожь в голосе, он взял ответное слово и провозгласил здравицу за тех, кому дорога Россия, кто кует сейчас ее будущие победы и кто готов отдать не то что последнюю рубаху — жизнь за ее возрождение. И еще он сказал, что России нужна своя национальная элита, и что только такая элита может не стяжать, а строить и созидать. Впрочем, Леха к тому времени тоже изрядно набрался, и я отнес его эмоциональный всплеск исключительно к расслабляющему действию алкоголя. Словом, школьный друг меня удивил. А вот институтский, мне показалось, только изображал, что он принял лишнего. Я хорошо знал по студенческим временам, каким бывает Миша по настоящему выпившим. Мне не понравилось, как жадно он вслушивался в Лехины речи. Словно про-

токолировал. Я подумал, что Мишин тост был осмысленно провокационным. А Леха? Неужели Леха мог так простодушно повестись?

Что было дальше — помню плохо, фрагментарно. Осталась в памяти сцена, как Феодосий Павлович без плаща, но в берете, горшком надвинутым на уши (видимо, дымно выпивали уже на посошок), дирижируя наполненной рюмкой и расплескивая водку, поет на мотив «Варшавянки» — «в царство традиций дорогу грудью проложим себе!». Помню побледневшего Леху, часто поглядывающего на часы и с какой-то решительной ожесточенностью уехавшего в ночь на своем джипе, несмотря на угрозы отправиться ему, уже солидно принявшему, домой на такси. Запомнился с плутовато-сдержанной улыбкой Миша, галантно, но уже с долей определенной фривольности ведущий в танце рослую, накрашенную девицу в кокошнике. Запечатлелся остатками разума и колобок Калеватов, потерявший во хмелю где-то очки и в своей близорукой беззащитности показавшийся вполне своим и симпатичным парнем... Развозил нас по домам, еле живых, на своей «газели» хозяин заведения, румяный молодец Вадик Кригер.

...Ночью, в условленном месте, на лесной дороге съехались двое. Выключили двигатели, потушили фары. Одновременно вышли из машин, прислушались, дали привыкнуть глазам к темноте, молча шагали навстречу друг другу. Поздоровались, сдержанно обнялись.

— Ты, я вижу, хорошо принял сегодня? — тихо сказал один, пониже ростом и по фигуре постройнее. — Что за спешка? Ты выдернул меня из постели.

— Пришлось выпить, разоблачал одного подосланного... надо было восторженным пьяным дурачком прикинуться, — неохотно ответил другой.

— Ну, как — разоблачил? — хмыкнул ростом пониже. — Тебе везде подосланные мерещатся.

— Лучше так, чем быть наивным лопушком... Тебя кто просил в монастырь ездить, — властно и грубо надвинулся тот, что был покрупнее, — исповедаться решил?

— А что? — с вызовом прозвучало в ответ. — Исповедь, говорят, облегчает душу.

— Сомневаться начал?... Я так и знал! Но ты, пойми, назад дороги нет! Груз уже на месте! — Тот, что был повыше, приблизил лицо к собеседнику и горячо зашептал: — Не надо тебе с ним знакомство водить! У тебя же все на лице написано. Он тебя враз отсканирует и расколется. Ты что, хочешь все погубить? Наши предки за веру сжигали себя. Шли до конца... А мы, как последние ничтожества, остановимся на полпути? Если не мы, то кто?! Сомнения приводят к предательству! Ты же не станешь предателем, брат?!

Ростом пониже вздрогнул и отступил на полшага.

— Не совершаю ли я предательства другого? — тоскливо вырвалось у него.

— О чем ты?! — вскричал покрупнее и, напрягая всю силу взгляда, всмотрелся сквозь темноту в собеседника. Темень расступилась, и он увидел бледное, словно посмертная маска, искаженное отчаянием лицо. Мурашки побежали по его спине, и он с суевренным страхом перекрестился. — Какое другое предательство?

— Предательство того, что живо... всегда... помимо всяких правительств и режимов, — медленно подбирая слова, ответил ростом пониже.

— Ах, вот ты о чем! О том, что принято называть Отечеством? — быстро заговорил покрупнее. — Режимы приходят и уходят... а что-то там остается! Старая песня... Так вот, не Отечество, а мертвую пустыню оставляют нам нынешние! Себе — цветущие виллы и особняки, там, на Лазурных берегах... или на берегах Темзы, а нам — мертвую пустыню! Они оставляют нас на вымирание! Пойми ты это! И это надо решительно останавливать, а затем — из руин восстанавливать наше любимое Отечество. Вот на что мы идем! Что же тут предательского? Предатели — это они... И выбрось всякую чушь из головы. Русским несвойственна рефлексия... Будем решительны и последовательны, без дребезжания и раздвоенности, и тогда все у нас получится! Ты понял меня, дорогой ты мой человек! — Голос у говорившего дрогнул и наполнился теплотой. — А к старцу больше не ходи! Чую, не случайно этот психотерапевт здесь появился... Договорились?

Ростом пониже молчал.

— Договорились?

Ростом пониже нащупал в темноте руку того, кто был покрупнее. Сильно и преданно сжал ее...

6

Удивительно, утром я проснулся после вчерашних возлияний довольно свежим. Обычно с похмелья я сильно страдаю и болею. Болею и физически, и нравственно. То, что обычно голова раскалывается, это еще полбеды, хуже другое — когда темная хмарь заползает в душу. Неясные страхи, невнятные угрызения совести, какая-то тревожная муть на сердце обычно преследуют меня, когда я принимаю лишнего. Тут же все было довольно сносно, можно сказать, проснулся я бодрячком. И голова была вполне ясная, и духом был вполне здоров. Вот что значат выпивка в приличной компании, качественные напитки, свежий воздух и правильная закуска.

«У Вадика» столоваться можно, окончательно решил я, вспомнив тушенное с овощами мясо в горшочке, извлеченное с пылу с жару из настоящей русской печи; развалистые, сочные гречишники; пирожки с картошкой, луком и яйцом; соленые огурчики с местных грядок и упругие грибочки из наших своробоярских лесов... Молодец Вадик Кригер, сумел наладить русскую кухню, думал я, еще сладко подремывая после пробуждения, когда, по-

стучав, в комнату вошел с двумя бутылками пива Миша Васильев.

— Крепко мы, однако, набубенились вчера, — сказал Миша, протягивая мне одну из бутылок, — освежись, настоящее баварское, как знал, прихватил вчера пол-ящика у шефа в буфете.

— Прямо из Германии? — спросил я, принимая пиво.

— Прямее не бывает, — благодушно и с удовольствием отвечал Миша, — попробуй, почувствуй разницу между нашим, как бы немецким, и этим... настоящим немецким.

Приподнявшись на подушках, я сделал несколько глотков из горлышка. Пиво действительно было отличное, как разливное в баре где-нибудь там, на неметчине.

— Хороший продукт пользуют в вашем спецбуфете, — похвалил я, — привет от ЦК КПСС.

Миша улыбнулся непроницаемыми глазами.

— Элита кушает всегда особенно... Не будешь прикармливать, во всех смыслах, неповиновение окажет. Кстати, — сказал он, устраиваясь в кресле напротив и вытягивая ноги на полкомнаты, — водка была вчера превосходная, как выяснилось, местная, а не хуже, чем из спецбуфета. Скажи, где купить, прихвачу в Москву пару бутылочков...

— Это надо у Малькова спросить, он на местном ликероводочном покупал... тоже со спецлинии.

— Без спецбуфетов и спецлиний нам, похоже, не прожить при всех режимах, — осклабился Миша, — а Мальков — это тот, который с челюстью, которого Лешей зовут? — небрежно спросил он, прекрасно зная, о ком идет речь.

— Он самый, — кивнул я.

Миша задумался.

— Закрытый человек, достаточно националистично настроен, неглуп... такое ощущение, что раздавлен, как говорил классик, какой-то идеей... Такой либо удивит, либо обкакается на весь свет. — Васильев вопросительно взглянул на меня.

— Пора вставать, — сказал я, допивая пиво, — хорошо пошло, нельзя ли еще бутылочку?

Пока Миша ходил к машине за очередной партией пива, я встал, оделся. Выглянул в окно. За окном было, в отличие от вчерашнего дня, по-осеннему туманно и мгlisto. Кажется, подсеивал мелкий, частый дождь. Все располагало к тихому, уютному опохмелу и душевной беседе. Миша вернулся в армейской плащ-палатке и стал похож на памятник. Вместо автомата он держал прижатые к груди бутылки.

— Прихватил в дорогу плащ-палатку и, похоже, весьма кстати... Брат когда-то подарил.

— Он у тебя, кажется, военный?

— Служит, — уклончиво ответил Миша.

Я быстро пожарил яичницу, под пиво обнаружил в холодильнике завернутого в газету увесистого вяленого леща.

— Местный? — спросил Миша, разделявая леща. — В реке еще водится рыба?

— Как видишь, — сказал я, — тут еще много чего водится, места заповедные... Так ты берешь участок, или какие-то сомнения завелись?

— Пока склоняюсь к тому, что, вроде бы, с одной стороны, надо брать, а с другой... в общем, там видно будет, — неопределенно промямлил Миша.

— Нет, так не пойдет, — сказал я, почувствовав, как боднуло на старые дрожжи пиво в голову, — ты не на дипломатическом приеме, старина. Берешь или не берешь?

— Вот пристал, — дружелюбно засмеялся Миша, — если бы все в жизни было так определенно, как у тебя... Вчера этот жучок из местной администрации заломил сверх прейскуранта еще три цены. Теперь прикидываю по деньгам...

— Это Калеватов? Когда он успел?! Мы же все время рядом были! — вырвалось у меня.

— Эти люди всегда найдут удобный момент... У них тут отработанная методика.

— А ты не соглашайся, — вспомнил я предостережения Лехи, — плати строго по инвентаризационной стоимости. А если что, с ними разберется Мальков, он мне так и сказал...

— Кириш, — с нарочитой барственностью, позевывая, потянулся в кресле Миша, — если что, я с ними сам разберусь... Ну, а потом, надо мне тут разобраться кое с чем посложней, — загадочно произнес он и быстро, как бы затирая сказанное, поправился: — Так что неделю буду думать, в следующую пятницу приеду, тогда все окончательно и решим. Я сам позвоню этому, как его, Каловатову...

— Калеватову, — машинально поправил я, не оценив Мишиного юмора. Фраза, что здесь ему надо с чем-то разобраться посложнее, зацепила меня. И даже три бутылки пива, вызвавшие вторичное легкое опьянение, не развеяли во мне вчерашнего подозрения, что Миша Васильев здесь неспроста.

— И еще, — состроил постную гримасу Миша, — за рекой эти ракеты с ядерными боеголовками... вообще-то стрёмно.

— Да они здесь уже сто лет стоят и никому не мешают. Если бы было что, отсюда давно бы все разбежались.

— И тем не менее, — вздохнул Миша и неожиданно, понизив голос, добавил: — у меня брат, только между нами... служит по линии безопасности в РВСН... всякие нештатные ситуации случаются...

Ах, вот оно что! Служба безопасности в РВСН... Я сделал вид, что не придавал значения его неожиданному вбросу о брате. Ну, проболтался Миша под хмельком. Ну, ляпнул и ляпнул, чего говорить не надо. С кем не бывает. Мы-то люди свои и понимаем слабости друг друга. Так что, проехали.

— А как тебе Феодосий Палыч? — как можно беззаботнее спросил я.

— Очень умный и основательный человек, — неожиданно серьезно, даже как-то подчеркнуто серьезно, сказал Миша. — Вначале, скажу честно, я принял его за придурковатого всезнайку-болтуна, кото-

рыми так богата наша провинция... Я не в уничижительном плане, ты понимаешь. У нас много на Руси таких универсальных, широкопрофильных говорунов, которые начитались разной хрени от околосторонней, философской литературы до конспирологической бредятины и несут потом всякий вздор, слывя шибко умными и продвинутыми, хотя никаких реальных знаний там и рядом не стояло... Умные дурачки, про таких в народе говорят. Вот Горбачев, типичный представитель этого сорта... Но Феодосий Палыч — это другое. Это серьезный общетеоретический уровень с жесткой привязкой, через краеведение, знание жизни вот этого конкретного района, к реальным проблемам... почве. Феодосий Палыч — это, если так можно сказать, синтез мысли и практики... два в одном. Сейчас таких очень не хватает, сплошные дилетанты-теоретики... — Миша внимательно посмотрел на меня. — А Малькова, я заметил, старик не очень-то жалуется... Что-то их, похоже, связывало, а теперь они разбежались и дуются друг на друга каждый в своем углу.

На этот раз я не уклонился от вкрадчивой въедливости друга. Пиво расслабляет.

— Насколько мне известно, вокруг Феодосия Палыча образовалось что-то вроде философского кружка, — с неожиданной охотой начал рассказывать я, — собираются на его квартире еще крепкие осколки советской интеллигенции, бывшие ученые — тут когда-то был серьезный закрытый НИИ с докторами наук, хорохористые учительшики, парочка бойких мелких чиновников, местные писаки, и судят-рядят про то про сё. Аглицкий клуб Своробоярска, одним словом... Заглядывал на посиделки к ним и Мальков. Не знаю, что там у них произошло, но, по некоторым проговорам Феодосия Палыча, в один прекрасный момент грубо нахамил честной компании, обозвал всех пустышками, никчемными бездарями и пустомелями и хлопнул дверью.

— Забавно, — сказал Миша, так жадно ловивший каждое мое слово, что я пожалел, что сболтнул ему о собраниях у Никонорова. — Забавно, — усмехнулся он, — получается, что-то вроде «наших» из «Бесов».

— Ну, ты хватил... крутые аналогии! — Мне стало весело. Но, взглядевшись в Мишу, вдруг понял, что тот не шутит.

— Рядом с таким объектом, — Миша сделал рукой горку, как бы имитируя полет ракеты, — больше трех лучше не собираться. Но раз от них отдалился такой радикал, как Мальков, значит, они действительно болтуны, не больше...

— Чепуха какая-то, — сказал я, чувствуя себя как бы в чем-то виноватым, — и почему Мальков вдруг стал радикалом?

— По ощущениям, друг мой, по ощущениям, — непроницаемо сузил глаза Миша, — а потом, ваш городок такой тихий, здесь так хорошо все слышно...

— И что же слышно? Как матерится пьяный работник, страдающий утром от паленой водки и отсутствия

пивка из спецбуфета? Или как разбивают кувалдами уникальные станки на остановленных заводах? А может, как шелестят наворованными купюрами Калеватов с Крошкиным? Это тоже слышно?! — так и подкинуло меня. Миша нес дикую ахинею.

— Все слышно... в деталях... Ты даже не пове-ришь, как четко, — усмешливо посмотрел на меня Миша. — Услышали к вышеперечисленному тобой и то, что командир ракетной части встречался намер-ни с твоим старцем Нектарием, — вцепился в меня взглядом мой друг.

— И что в этом такого, что они встречались? Ви-димо, вояка хотел передать через старца письмо о ча-совне Патриарху, — пришел в себя я. — И почему вдруг старец стал моим?

— Вот видишь, и пафос весь куда-то испаряется, если задаться серьезными вопросами, — пристально вглядывался в меня Миша. — Так не будем забывать, что встречался, как ты говоришь, «вояка», не просто с малограмотным, деревенским дедушкой, а с отпе-тым власовцем, совсем недавно приехавшим из США... из США, понимаешь?

Мне показалось, что я улетаю в какую-то другую эпоху... Я с трудом удержался, чтобы не расхохотать-ся Мише в лицо.

— Вот этого не надо, здесь не до смеха, — словно прочитал мои мысли Миша. — А почему старец «твой»? Потому, что он недавно был у тебя, и вы с ним славно тут часа три что-то перетирали... И об этом тоже слышно... Что ты скажешь о нем? — блуд-ливо улыбнулся глазами Миша.

Я почувствовал себя участником театра абсурда. Мне захотелось ушипнуть себя — сон это или явь? «Он делает из меня какого-то информатора, — про-неслось в голове, — и это самая что ни на есть явь...»

— Ничего не скажу, — сказал я твердо, — кроме того, что он родился в этом доме. Его вывезла мать по церковным связям пятилетним в Эстонию, в по-следний момент, как опустился железный занавес... Приходил посмотреть отчий дом, поностальгиро-вать... Старенький уже... неровен час...

— Так вот оно что... — протянул Миша, огляды-вая, как в первый раз, стены и потолок столовой, где мы пробавлялись пивом, — выходит, родовое гнездо...

— Дом поставил его предок, тоже священнослу-житель, еще во второй половине семнадцатого ве-ка, — добавил я.

— Значит, потянуло в родные пенаты? Хороший предлог поселиться рядом с секретным объектом, — плутовато заиграл Миша глазами.

Я оторопел:

— Ты что несешь, друг мой?! «Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?»

— Да третье уж от Рождества Христова! — с вызо-вом подхватил Миша. — Ты думаешь, со временем что-то меняется на большой шахматной доске? И там фигуры перестали «есть» друг друга? Ты наи-вен, Кирюша!

«Еще один маньяк на мою голову!» — Я с трудом сдержался, чтобы не застонать, не затопать ногами.

— Он скоро десятый десяток разменяет, какой из него шпион! — зашелся я.

— А разве я говорил что-то подобное? — вски-нулся кудлатой головой Миша и наглово смерил меня взглядом. — А нисколько не изменился с ин-ститутских лет... как всегда, сплошные эмоции.

— А вот ты изменился... Сартра с Камю боготво-рил — и такую чушь через тридцать лет несешь!

— При чем здесь это? — неприязненно посмо-трел на меня Миша. — Высокую европейскую мысль я до сих пор люблю... Вот недавно «Тошноту» Сартра в оригинале перечитал... Но, видишь ли, дружище, одно дело их интеллектуальные достижения, перед которыми, повторяю, я снимаю шляпу, другое — их идеология, тщательно маскируемая, но которой пронизано буквально все западное сообщество. И в этом смысле западный мир — самый идеологизиро-ванный мир. Это идеология мессианства западной цивилизации. Ни дивный прекрасный эллинизм, ни аскетическое христианство, ни великие гуманисти-ческие идеалы Просвещения, ни самые совершен-ные доктрины о демократии и правах человека ни на йоту не подвинули в западном человеке глубинное чувство превосходства над всеми другими племена-ми и народами. И это чувство гонит их через океаны и материки насаждать свои ценности, свои пред-ставления о том, как должен быть устроен мир. Так было во времена Древнего Рима, так было в эпоху великих географических открытий, колониального продвижения, экспансий наполеонов, гитлеров, американских президентов. Так будет всегда, пока Запад существует как институциональное, цивилизационно-технологическое сообщество. Это чув-ство первых, сильнейших, умнейших, как наслед-ственная болезнь, как дьявольское искушение, пре-следует все поколения западного человека... Это, так сказать, преамбула к главной моей мысли. — Миша внушительно помолчал и зачем-то посмотрел на ме-ня сквозь запененные, мутные стенки поднятого стакана. — Тех же, кто им сопротивляется, кто вста-ет на пути их всепроникающей экспансии, они уни-чтожают. — Миша резко, со стуком опустил стакан на столешницу. — Заметь, уничтожают физически. Или ослабляют до такого уровня, когда о сопротив-лении говорить уже не приходится... Я прожил на Западе половину жизни, вращался в самых серьез-ных кругах. Поверь, более коварной, двуличной, жестокой элиты нет на свете. И ей безропотно под-чинен народ. В том смысле, что идеологически они едины. Поэтому с нами, кто им упорно не покоряет-ся, они ведут вековую борьбу на уничтожение. По-вторяю, коварство «белого человека», его цинизм, изощренность приемов и методов в борьбе с «ина-комыслящими» не знает предела... Задаваться во-просом: «Какое, милые, у нас тысячелетье на дво-ре?» — конечно же можно. Но только и ответ напрашивается один — несменяемое тысячелетье...

От псов-рыцарей до натовских баз в Прибалтике... Ты и представить себе не можешь, как твоего старца могут использовать втемную. Он наверняка проходил после войны фильтрационные лагеря у союзников, встречался, когда жил в Штатах, с самыми разными людьми там, с ним могли такие спецсы работать, что он помимо воли, не догадываясь даже, мог навсегда остаться уловленным. «Есть многое на свете, друг Горацио...» — Миша резко закончил и холодно окинул меня бестрепетным взглядом председателя ревтрибунала.

Я молчал. С некоторых пор я стал уклоняться от споров с людьми, как бы понявших для себя что-то такое, что, с их точки зрения, не подлежит ни пересмыслению, ни ревизии. Чаще всего за этим обнаруживается либо фанатизм, либо убеждения. В Мише жили убеждения. А чужие убеждения полезнее смиренно обходить стороной.

— Как можно использовать старого монаха втемную? Ну, если только датчик в скуфейку вшить и слушать его тихие молитвы и переговоры с братией? — тем не менее съязвил я.

— Напрасно иронизируешь, — угрюмо отозвался Миша, — старец исповедник, слышет за тонкого врачевателя душевных ран. К нему уже чуть ли не очередь выстраивается... Идеальный способ замера общественных настроений... да еще в глубинке. Представь себе, что он потом делится своими наблюдениями, — нет, не конкретно по какой-то личности, какому-то конкретному случаю... тайна доверительной, сердечной беседы — это святое, это неприкосновенное, — а так, вообще, в целом, с кем-нибудь из своих прежних заокеанских знакомцев по электронной почте, скайпу, просто в письме, в телефонном разговоре, а это все сканируется, пишется, изучается... Да за одно точное слово, определение, выверенную оценку настроений в самой толще русской жизни, да рядом с таким объектом, определенные службы дорого дадут... А если к нему еще ходят командиры ракетных дивизий! Понимаешь ты это, наивный человек?! — Миша не на шутку разошелся. — Да его, зная, что он тут подвизался старцем, могут тонко провоцировать на откровения, так тонко, что он и замечать не будет, как начнет выкладывать особенности морального, нравственного, социального психологического состояния самых разных слоев нашего общества. Советский Союз уничтожили не атомными бомбами, не танками и пушками, а вот именно тонкими познаниями настроений, запросов, чаяний и недовольств советского человека. На этом безошибочно сыграли, заставили выйти на митинги протеста, а затем под лозунгом борьбы с коммунистической системой разрушить своими же руками свою великую империю. Теперь они так же подбираются к российскому человеку. Изучают, составляют его социально-бытийный портрет. Ты и представления не имеешь, каким изощренным инструментарием они пользуются. Тот, кто знает обывателя, тот владеет и страной. Им нужно проникнуть

в душу народа, и тогда они парализуют его волю, заставят под самыми благими намерениями, — что-то похожее на бескомпромиссную борьбу с коррупцией, за честные выборы, равенство всех перед законом, — демонтировать остатки российской государственности, превратить в груды черепков то, что осталось от великого Государства Российского под неброским названием РФ.

— А с коррупцией действительно пришла пора разбираться жестко, — свернул я, — ты же сам увидел, что это такое. Когда глава района практически занимается рэкетом, нагло, под прикрытием властных московских аферистов, торгует пахотными землями, не говоря уже об «откатах» и разнокалиберных взятках от владельцев торговых точек и рынков... Похоже, наступает время, когда, как говорится, то кого... Или государство очищает сосуды и выздоравливает, или тромб коррупции приводит к смертельному инфаркту.

Миша понимающе ухмыльнулся.

— У вашего Крошкина действительно есть достаточно высокий покровитель, некто Кустов, — он родом откуда-то отсюда, сейчас депутат, одно время не на последних ролях «изнурял себя непосильным трудом» в правительстве, оброс связями... ловкий тип! Скажу тебе, только между нами, сейчас он в разработке, скоро его накроют вместе с этим Крошкиным и всеми каловатовыми в придачу... Однако уже четыре, — посмотрел он на часы, — заболтались мы с тобой, брат, а мне еще до Москвы по жутким пробкам толкаться, дай бог к девяти пробиться. Завтра на работу... это ты тут барином устроился.

— Может, останешься, — предложил я, — пива достаточно выпили... гаишники на воскресный промысел вышли... утром оно надежнее.

— Ничего, отобьемся... у меня «вездеход», — Миша показал какую-то важную красно-малиновую книжечку, — а вот погулять по твоим владениям еще полчаса можно, глядишь, пивко и выветрится.

Миша — в плащ-палатке, я — в полиэтиленовом дождевике спустились к реке. Молча прогулялись вдоль берега. Разговор как-то намертво иссяк. Мне показалось, что Миша чувствовал определенную неловкость, он, видимо, слишком распустил язык...

Обреченно пригibasь в предосенней покорности трава под дождем. Вода, поднявшись после ливня, задумчиво расплетала еще зеленые волосы берегов. Печально позвякивала цепью, водимая течением, лодка на привязи. Стало вдруг невыносимо одиноко и грустно. Мне захотелось, чтобы мой друг поскорее уехал...

7

На следующий день я набросал письмо о часовне в Минобороны за предполагаемой подписью Мишиного шефа. Перед тем как отправить текст по электронной почте, решил показать его Лехе, так сказать, для верности — может, что-то не учел,

пропустил важное. Леха словно ждал моего звонка и подкатил на своем катафалке уже минут через пятнадцать.

— Ни убавить, ни прибавить, — сказал он, внимательно проглядев текст, — дело за малым, заполучить подпись вот этого человека, — Леха ткнул пальцем на мониторе в фамилию спикера, — но тут уж должен твой друг постараться... Кстати, как он, доволен остался? А то ко мне Калеватов какой-то встревоженный уже с утра прибежал...

— Да вроде ничего... на что ему обижаться? Кажется, все было очень прилично... — пожал плечами я, — в пятницу обещал приехать, окончательно определиться с участком. А что Калеватов волнуется?

— В следующую пятницу? — в поинтерской стойке замер Леха, что-то быстро соображая. — Ну, в пятницу, так в пятницу, — согласился он с чем-то своим, — надо снова накрыть поляну у Кригера... А Калеватов? Так он струхнул, что выкатил твоему другу на субботней пьянке чиновничьи расценки за землю. Бойся, как бы чего не вышло. Заладил, что не простой человек твой друг... Да и мне так показалось, — недовольно посмотрел на меня Леха, — впрочем, детей мне с ним не крестить... Будут ошкуривать его местные воришки — помогу, подскажу... Только, сдастся мне, не за этим он сюда приехал... — усмехнулся он. — Пойду проверю, что там творят мои «дети подземелья». Сегодня должны закончить с подвалом, завтра примутся за веранду.

В это утро Мише, видимо, икалось. Еще не стихли Лехины шаги, как Миша позвонил.

— Кирилл, поздравляю, — деловито сказал Васильев в трубку, — с утра составлял пресс-релиз для шефа и обнаружил пять публикаций по часовне, и не абы где, а в самых солидных изданиях, — он перечислил действительно крупные газеты, — так что с тебя причитается.

— Самое время положить твоему шефу на подпись письмо в Минобороны, — сказал я, — основа уже набросана, сейчас вышло.

— Раньше, чем на следующей неделе, ничего не получится, — фальшиво погрустнел Миша, — через час шеф уезжает, вернется в пятницу после обеда, в пять у него Совет безопасности. Я ему практически весь день не нужен и я отпросился к вам. Так что только в следующий понедельник... Заодно, когда буду у тебя, мы это письмишко еще подредактируем.

Ясно было, что Миша увиливает. «Что-то он тут разнюхал такое, что не хочет светиться, он всегда предельно осторожный», — подумал я, примериваясь к нараставшему чувству тревоги. Что-то подсказывало мне, что втягиваюсь я в какое-то зыбкое, не ведомое мне прежде действо, результаты которого могут быть опасно непредсказуемыми. В чем заключалась эта опасность, объяснить себе я не мог. Но что-то было не так. Я ощущал, что люди вокруг меня вдруг почему-то начинают играть роли, прежде не свойственные им. Начинался тот самый карнавал с масками, когда от каждого участника можно ждать

подвоха или гадости. Но и уклониться от этого тревожащего действия я был уже не в силах. Вот сегодня протрубили газеты... Оставалось только, как говорят в таких случаях, положиться на волю Божию.

Я выглянул в окно. Леха напряженно слушал кого-то по мобильному. Последний день лета радовал теплом и светом. Я раскрыл раму и жестами позвал Леху снова подняться ко мне. Мне хотелось показать ему на сайтах газет опубликованные статьи, заодно проговорить еще раз о вознаграждении публикаторам. Леха закончил разговор и изобразил на лице неподдельную радость.

— Разрешили, — крикнул он мне, — вот что значит письмо Патриарха!

— И у меня хорошие новости, поднимайся, посмотришь! — тоже как можно веселее откликнулся я.

— Идеальное совпадение, — сказал Леха, почитав заметки, — для военных чиновников это станет еще одним аргументом, что они приняли правильное решение... Ну, что, старина, начнем богоугодное дело?! — оторвал от монитора деланно довольное лицо Леха. — На этой неделе и приступим... начнем завозить к часовне стройматериалы. А, говорят, понедельник — день тяжелый! — Леха встал и обнял меня. Плечи у Лехи почему-то нервно вздрагивали.

— А насчет гонорара твоим писакам, все, как договаривались... — отстраняясь, сконфуженно опустил глаза Леха, — ты когда собираешься в Москву, чтоб я приготовил деньги?

— В следующий понедельник у меня заканчивается отпуск, — сказал я, сделав вид, что не заметил странного волнения Лехи, — уеду, видимо, обратно с Васильевым в субботу или воскресенье... как у него пойдет дело... он будет здесь в пятницу...

— Деньги завезу в четверг, — уже с привычной уверенностью отчеканил Леха.

— Да, с письмом от его шефа в Минобороны, похоже, не получается, — продолжил я, — большой человек сегодня уезжает в командировку, вернется только в пятницу, практически сразу на Совет безопасности к пяти... Если и подпишет, то на следующей неделе. А оно тогда надо?!

— Кто бы думал, что будет по-другому, — неожиданно зло бросил Леха, — командировка до пятницы, Совет безопасности в пять... — невнятно забормотал он, весь трепеща, но, перехватив мой, видимо, слишком пристальный взгляд, словно одернул себя и резко выправился, — отговорки это всё! Ну, да бог с ним... без него все решили! А ты, значит, хочешь с Васильевым на его машине обратно? Не волнуйся, к твоему отъезду ремонт закончим в срок, надежно и красиво... все срастается, как по заказу... — На этих словах Леха словно споткнулся, на мгновение задумался и, мрачно усмехнувшись, многозначительно добавил: — Твой московский друг в пятницу ахнет.

— Да я и не волнуюсь, — посмотрел я Лехе в глаза, — это ты, похоже, что-то напрягаешься.

— Есть немного, — вильнул он взглядом, — теперь забот с этой часовней... Как это все поднимать?!

— Ну, армия, насколько я понимаю, не останется в стороне. Что думает брат? — спросил я осторожно.

— Что думает брат? — Леха замер и испытующе-встревоженно стал всматриваться в меня. — Брат ничего... — скинул напряжение глазами Леха, — обещает помочь деньгами и солдатами. Хотя какие у него деньги, по какой статье он будет их проводить? Нет пока у воинских подразделений статей расхода на возведение культовых сооружений, — сухим смешком прокашлялся Леха, — надо будет опять писать письма... сплошная бюрократия и рутина.

Чистыми, какими-то «советскими» трелями в комнате зазвонил годами молчавший домашний телефон. Это был Феодосий Павлович.

— Кирилл, — сказал Никоноров без лишних вводных, — посмотри завтра нашу сплетницу, в номере стоит мой опус о часовне. Ты молодец, сегодня я насчитал с полдюжины заметок в центральной прессе.

— Пять, — поправил я.

— Ну, хорошо, пять, — раздражаясь, сказал Феодосий Павлович. Старик был явно чем-то озабочен, — с моей будет полдюжины... Есть надежда, что власть прислушается.

— Она уже прислушалась. Сегодня получена отмашка Минобороны на восстановление часовни.

— Чудесно, — вздохнул Феодосий Павлович, — теперь она пусть прислушается к нам... По этому поводу я тебе, в общем-то, и звоню.

— К «нам», это к кому?

— К нам — это к неравнодушным гражданам, — назидательно сказал Никоноров. — Не помню, говорил ли я тебе, но года два назад я зарегистрировал НКО «Ренессанс»... с чисто просветительскими целями. Всякие выставки, лекции в школах по истории края, ну и анализ современной жизни тоже. Нас уже около сотни таких подобралось...

— А мне говорили, что у вас что-то наподобие социально-философского кружка... своробоярских фурьеристов, — попытался пошутить я.

— Нет, мы посерьезнее структура, — строго отmel всякие покушения на юмор Феодосий Павлович. — Словом, в субботу мы хотим решительно заявить о себе... Хватит жить в грязном болоте! Мы проводим митинг на центральной площади за возрождение города и района. Приглашаем тебя... как гражданина, ну, и как представителя центральной прессы...

— А митинг-то разрешенный? — почему-то спросил я.

— Сегодня получена отмашка... — язвительно повторил меня Феодосий Павлович, — у нас заявка всего на триста человек... каждый из нас приведет еще по два-три человека из знакомых. Власти разрешили, посчитав, что триста маргиналов, с их точки зрения, ерунда... Только напрасно, бывает мал золотник, да дорог! — По голосу Феодосия Павловича можно было судить, что настроен он весьма решительно. — Так ты придешь? Митинг начнется у памятника Ленину в десять утра.

— А не рано? В субботу люди долго спят.

— Это в Москве долго спят, — занервничал Никоноров, — в провинции всегда встают с петухами... Но ты не ответил на мой вопрос.

— Конечно, приду... как не поддержать неравнодушных граждан древнего Своробоярска, могучий протестный электорат, голос которого зазвучит как колокол на башне вечевой... — пошутил я.

— Не паясничай, тебе это не к лицу! — одернул меня Феодосий Павлович и повесил трубку.

— Что там придумал еще этот старый болтун? — насмешливо взглянул на меня Леха.

— Почему сразу — «старый болтун»? — возразил я. — По-моему, образованный, умный, нестандартно мыслящий человек...

— Ну, хорошо, хорошо — гениальный бесполезный балабол, — не унимался Леха, — что он на этот раз необычного изобрел?

— Приглашает в субботу, в десять утра, на митинг за возрождение города и района, у него, оказывается, есть НКО...

— Знаю... «Ренессанс» называется... более глупого и нелепого названия для Своробоярска не придумать... — язвительно отозвался Леха. — А ты спрашиваешь: почему балабол?! Значит, в субботу, в десять утра, эти маразматика выйдут на митинг? Очень интересно! А ведь как повернуть, эти старперы еще могут быть очень полезны! — Леха закружил по комнате, сочно вбивая кулак правой руки в ладонь левой. — Ну что ж, и веревочка в дороге пригодится! И старый дурак для дела сгодится!

— Для какого такого дела?

Леха резко остановился посреди комнаты, пришел в себя, скомканно изобразил улыбку на лице:

— Да ты как будто чего-то напугался... Для поднятия родного края... кому, как не нам, тут все реанимировать. Пора брать власть на местном уровне, — опустил он глаза вниз. — А тут и старый демагог Никоноров с его НКО к месту будет. Любопытно все, очень любопытно...

Леха, не попрощавшись, направился к двери.

8

В монастыре заблаговестили к заутрене. Солнце еще не встало, оно только оранжево подсветило небо на востоке. Путник в хромовых, офицерских сапогах, еще советского кроя, в длинном сером плаще, потемневшем снизу от росы, осторожно пробирался вдоль реки, стараясь держаться сумеречной, теневой стороны довольно высокого и частого берегового ольшаника. На голове была под цвет плаща бейсболка, длинный козырек которой закрывал лицо. Путник легко и ловко перепрыгивал через нарытые ручьями промоины, поваленные старые деревья, шел оглядливо, но бодро и энергично. Он явно спешил, изредка задирая левый рукав плаща, подносил ближе к глазам часы, которые показывали пять с небольшим. Скоро он вышел к белым стенам монастыря. Перед надвратной монастырской иконой снял

бейсболку и трижды перекрестился. Несколько раз ударил ручкой-кольцом в кованые железные ворота. В маленькое смотровое окошко выглянуло бледное, припухлое от бессонной ночи лицо послушника. Путник извинился за столь ранний визит и испросил разрешения пройти к старцу Нектарию. Видимо, в его словах, мимике, жестах, глазах было что-то такое, что заставило послушника молча открыть небольшую дверцу в воротах.

— Вас проводить? — учтиво осведомился он у гостя. — Отец Нектарий еще может быть на службе.

— Если можно, я сам... — глуховато сказал подсевшим с утра голосом гость, — я найду... я уже был у старца.

Послушник в поклоне сделал приглашающее движение рукой вглубь монастыря.

По влажным от утренней свежести песчаным дорожкам, среди тяжелых махровых, темно-малиновых головок георгинов и воздушных, бело-розовых астр, густо высаженных вдоль дорожек, гость уверенно направился в дальний конец монастыря, туда, где белела стволами прозрачная березовая рощица. В ней, перед маленьким, почти игрушечным домиком, выращенным в небесный цвет, с парой крохотных оконцев наперед, присел на низенькую скамейку, врытую между двумя, ближайшими к крыльцу, деревьями. Судя по приоткрытой двери, хозяин домика еще был на заутрене. Было так тихо, умиротворенно и благостно, что хотелось плакать и за что-то просить прощения. Гость прикрыл ладонью глаза.

Неслышными, легкими шагами подошел старец, оперся на палочку, тихо взгляделся в посетителя.

— Не стоит так кручиниться, милейший Борис Константинович, пройдет и это.

— Здравствуйте, отец Нектарий, — посетитель вздрогнул, приподнимаясь со скамейки, — извините за столь раннее вторжение...

— Да разве это рано, когда солнце встало. — Старец радостно поднял голову к небу, сделал несколько круговых движений лицом, словно умываясь в золотом потоке, хлынувшем из-за высокой монастырской стены. Глаза его разом наполнились голубым светом. — Разве это рано, — повторил он снова, — так наши предки всегда вставали... кто рано встает, тому... проходите в дом, — ласково пропел старец, направляясь первым в сторону низкого, в две ступеньки, крылечка, — попьем чайку... грешен, люблю после заутрени свежезаваренным побаловаться.

В домике старца, как и в прошлый раз, было прохладно, но не выстуженно, темновато, но не мрачно, все просто, но не убого, с какой-то правильной, чистой обжитостью... Только резче пахло высыхающими травами, развешанными пучками на гвоздях над притолокой, по косякам окошек. И на письменном столе лежала прежде не замеченная, раскрытая, прочитанная на три четверти, внушительная рукописная книга. А так все оставалось прежним. Иконы в правом, красном углу, зажженная лампадка перед ними. По стене, где иконы, полки с духовной лите-

ратурой. Напротив книги светские. Почти детская, короткая, деревянная кровать, застеленная клетчатым пледом. Рядом чайный столик, табурет и единственное, светлого дерева, без обивки кресло. Куда, как и в прошлый раз, предложив снять верхнюю одежду, пригласил гостя присесть старец. Сам же включил электрический чайник, сноровисто занялся сервировкой стола. Достал из настенного шкафчика две белые, расписанные синими цветами, прозрачные, тонкого фарфора чашки с блюдцами, заварной чайник со сколотым носиком, железную коробочку с заваркой, простые, из нержавеющей стали, ложки, розетки и стеклянную банку с медом.

— Вы не представляете, — сказал старец с какими-то располагающими, приятельскими интонациями в голосе, — эти чашки моя покойная матушка взяла с собой, когда мы уезжали за границу... Было их шесть... осталось две. Есть вещи, которые, как верные слуги, проживают всю жизнь рядом с человеком. Они столько всего пережили с хозяином, столько всего видели, что, честное слово, становится жаль, что не умеют говорить. Вот эти же чашки, они столько могли бы всего рассказать! Но всегда ли надо рассказывать то, что знаешь? Мысль изреченная есть ложь, сказал поэт... — Старец мягко, почти украдкой, скользнул взглядом по лицу гостя. Тот опустил голову, нервно застучал носком сапога по некрашенным желтым половицам.

— Я пришел поблагодарить вас, батюшка, — сказал он, подавляя замешательство, слегка выпитив вперед довольно развитую нижнюю челюсть. — Письмо Патриарха в министерстве рассмотрели, нам разрешили восстановить часовню.

— Нисколько не сомневался в успешности нашего предприятия, — живо отвечал старец, заливая крутым кипятком заварку, — сейчас вы попробуете чай по моему рецепту... я добавляю в обыкновенную заварку душицу, мяту, зверобой и пижму... Травы собираю сам, их вдоль реки море, сушу потом... — показал он рукой на пучки над дверью, — и подмешиваю в обыкновенный черный чай. Получается чудочай, сейчас попробуете... Душица, мята, зверобой — это все традиционные добавки, а вот что касается пижмы — это особая статья, — старец укутал заварной чайник полотенцем, — ее добавлять в чай меня научил один старый белогвардеец... Пижма, немного ядовитое растение... но нет лучше — естественно в умеренных дозах — противомикробного, противовоспалительного средства. Когда они, врангелевцы, ушедшие морем из Крыма, стояли почти два с половиной года на острове Галлиполи, с плохой кормежкой, медициной — пижма многих спасала от инфекционных болезней... Вообще, пижма считается еще и отличным общеукрепляющим средством. Чай с пижмой снимает головную боль, помогает при нервных расстройствах, лихорадочном состоянии... — Старец разлил коричневатую, душистую жидкость по чашкам. Фарфор заиграл сумеречным, уютным светом. Сделав несколько глотков, гость по-

нял, что напиток действительно особенный. Немного горьковатый, но с медом — хорошо!

— Спасибо белогвардейцу, — сказал он, прихлебывая с удовольствием, не чинясь, из чашки. — А кем они были, на ваш взгляд, отец Нектарий? — неожиданно спросил он.

— Кто?

— Белогвардейцы...

— Те, с кем мне приходилось встречаться, — не задумываясь, ответил старец, — были люди достойные, горячо любящие Россию... много страдавшие вдали от Отечества.

— Может, оттого они и страдали, что преступили... — в раздумье, трудно выговорил гость.

Старец вопросительно взглянул на него.

— Я говорю это в том смысле, что они, офицерство в основном, генералитет, присягали императору — Великой России, монархии, а в марте семнадцатого переприсягнули Временному правительству — демократии, свободам и прочему... Это же травмирует, а то и калечит человека порядочного... Верными царю, присяге, я где-то читал, остались два или три генерала, — прерывисто вздохнул гость.

— Это верно, монархистов в Добровольческой армии было немного, и их верховное командование не поощряло, достаточно вспомнить об этом записки Шульгина, — с интересом глядявался старец в гостя, — в основном были те, кто за Учредительное собрание, непредрешенцы, словом, люди демократических взглядов. Но, поймите, монархия себя изжила, роковые изменения были неизбежны... Те, кто попадает в революционный разлом, всегда выбираются из него в чем-то искалеченными. Это вы точно сказали... Может быть, вы правы и в том, что за грех клятвопреступления приходится платить, в случае с Белым движением — поражением на полях сражений, изгнанничеством, рассеянием, тоской по Родине... Только я их ни за что не осуждаю, они за все заплатили сполна, и за свою Россию они сражались в целом достойно и честно.

— А власовцы? Кем эти были? Сейчас про них пишут, чуть ли не продолжатели Белого движения, «третья сила» — против Сталина и Гитлера, намеревались освободить Россию, как они говорили, от большевистского ига... Извините меня, батюшка, за такие, может быть, неприятные для вас вопросы, но не праздного любопытства ради я обращаюсь к вам! — с каким-то отчаянием сказал гость. — Мне надо сейчас принять решение... я не знаю, что делать... мне надо решить... где предательство, где долг... — опустив глаза в пол, сбивчиво закончил он.

Старец легко привстал с табурета и незаметно перекрестил склоненную перед ним голову гостя.

— Почему вы решили, что вопросы о тех, кого принято называть власовцами, неприятны мне, — мягко заговорил старец, — только потому, что судьба свела меня с протоиереем Александром Киселевым, духовно окормлявшим этих самых власовцев, или как они себя называли — «воинство вооруженных

сил Комитета освобождения народов России»? Или потому, что я долго был рядом с этим человеком, активно поддерживающим генерала Власова и даже бывшим чуть ли не его духовником? Вы, я вижу, человек сведущий... И, тем не менее, для полной ясности я должен посвятить вас в некие частности моей непростой, так сказать, судьбы. Так вот, отец Александр Киселев принял самое активное участие в вызволении нас с матушкой из Советской России в начале тридцатых... Моего батюшку, священника Алексея Смирнова, не выпустили тогда из России, и он, как понимаете, попал под жернова... Протоиерей Александр Киселев по матери принадлежал к влиятельному роду князей Шаховских, одна из ветвей которого, к слову, дала знаменитого архиепископа Иоанна Шаховского... Отец Александра Киселева был родом из Тарту. Почему они все и перебрались, когда началась Гражданская, в Эстонию... Когда мы добрались до Таллина, они приютили нас, помогли устроиться на новом месте. В одиннадцать лет я стал прислуживать в алтаре одного из православных в Таллине храмов, настоятелем которого к тому времени стал молодой священник Александр Киселев. Там, к слову, диаконом служил Михаил Ридигер, а прислуживал в храме, как и я, его сын Алеша. — Старец заулыбался. — Догадываетесь, кто это был?

— Будущий Патриарх? Я где-то читал, что он был Ридигер... — оторвал глаза от пола гость.

— Верно, — так и просиял старец, — будущий Патриарх Московский и всея Руси Алексий Второй.

— Теперь понятно, почему так удачно все получилось с письмом по часовне, — отметил кивком головы гость.

— А когда в сороковом Эстония стала частью СССР, — продолжал старец, — мы вместе с Александром Киселевым эмигрировали в Германию, где я так и оставался алтарником во всех храмах, где служил отец Александр. Отец Александр был подвижником, исключительно энергичным, очень искренним и добрым человеком... Когда началась война, в плен попали миллионы красноармейцев. Содержались они в немецких концлагерях в нечеловеческих условиях. Так отец Александр, глядя на страдания русских людей, развернул для них самую деятельную помощь — организовывал сбор продуктов, одежды, медикаментов... поддерживал пастырским словом отчаявшихся, упавших духом. Так он сошелся с теми, кто начал грезить организацией так называемой «третьей силы».

— Они уже были из советских военнопленных? — оживился гость.

— Это самый сложный вопрос, — осторожно отвечал старец. — Часть эмиграции, наиболее непримиримые, никогда не оставляли надежды взять реванш, в том числе и с помощью военной иностранной силы. «Против большевиков — хоть с чертом», — сказал как-то генерал Врангель. И когда в Германии к власти пришли нацисты и стало ясно, что война с Советским Союзом неизбежна, в эмигрантской сре-

де, вот среди этих непримиримых, стали раздаваться голоса раздаться с большевизмом, примкнув в случае войны к немцам, а потом повернуть штыки уже против них.

— Наивная позиция, — покачал головой гость.

— Размышляете как генерал Деникин, — поощрительно улыбнулся старец, — попадалась мне на глаза уже после войны его работа где-то года тридцать восьмого, называлась, кажется, если не изменяет память, «Мировые события и русский вопрос»... Хорошо запомнилось его довоенное обращение к тем, кто готов был вместе с немцами воевать с большевизмом. Деникин писал, что наивно рассчитывать — повернуть потом штыки под перекрестом немецких пулеметов. И тогда, говорил он непримиримых, прольете вы кровь не «чекистскую», а просто русскую — свою и своих — напрасно, не для освобождения России, а для большего ее закабаления.

Гость слушал, напряженно вбирая каждое слово.

— Хорошо говорил Деникин! — вырвалось у него. — Не знал... я думал, там проще было. Но, оказывается, и Деникин стоял перед страшным выбором...

— Не знаю, верно ли, — задумчиво произнес старец, — но рассказывают, что авторитетному белому генералу Деникину немцы предлагали возглавить то, что впоследствии было названо РОА — Русской освободительной армией и командующим которой стал уже красный генерал Власов... Так вот, Деникин ответил немцам на их предложение, что он воевал с большевиками, но не с русским народом...

— Белый генерал отказался, красный согласился. Где логика? — пожал плечами гость.

— Логику здесь искать — бесполезное занятие... Все дело в самом человеке, в каком-то непередаваемом нравственном чувствовании добра и зла, — тонко посмотрел на гостя старец. — Часть белых пошла с немцами — Краснов, Шкуро, Гирей Клыч... они со своими подразделениями влились в вооруженные силы Германии. Но их было немного, большинство в эмиграции заняло позицию близкую к позиции Деникина... Да, большевизм ненавидели все, но, чтобы быть с теми, кто напал на твою Родину и под флагом якобы борьбы с политико-идеологической доктриной так или иначе принимать участие в ее «большем закабалении» — вот это уж, увольте, это без меня...

— Получается, отец Нектарий, нравственное начало у генерала Власова отсутствовало? Но вы же... — Гость замялся.

— Договаривайте, душа моя, вы несколько меня не обидите... — старец придвинулся с табуреткой к гостю и широко взглянул ему в глаза, — да, я следовал по жизни за отцом Александром Киселевым, и так уж случилось, что в подростковом возрасте был алтарником в походной церкви РОА, где службу вел отец Александр... Потом прошла целая жизнь, было время подумать над разными ее опытами... А что касается нравственного начала генерала Власова, — кстати, я его несколько раз видел, — то об этом есть

такая история. Якобы те же немцы свели Деникина и Власова. Представили Деникину — генерал Власов. Деникин сказал, что он о таком генерале не слышал. Как же так, сказали немцы, он тоже, как и вы, борется с большевизмом. Боролся, сказал Деникин о себе, но никогда большевикам не служил. Деникин, представляется, ударил в самое больное место Власова — служил одним, перебежал к другим, вступил в союз с ними против вчерашних хозяев... неприлично вышло все, с душком...

— Ну, а если прозрел человек, содрогнулся, так сказать, от мерзости окружающей жизни и решил бороться... Что же, нельзя? Предательство сразу?! — горячо вырвалось у гостя.

— Человек безусловно имеет право на сопротивление системе, которая давит, угнетает его, — тихим, увещательным голосом продолжил старец, — но он должен это делать, не переступая какую-то очень важную черту, в полном согласии с совестью, не замарывая честь... Он должен быть чистым, как ангел, провозглашая свое, как ему кажется, «святое» дело. Но если он чувствует, что его намерения, даже самые благие, тревожат ему душу, царапают совесть и что-то подсказывает ему, что они не до конца праведны, то лучше не начинать. Иначе получается власовщина. Движение, основанное на глубокой, справедливой обиде русского человека на Советскую власть, обиде, перерастающей в ненависть, за ломание через колено, за обирание до нитки, за издевательство в коллективизацию, за голод, за страх перед человеком в форме и с наганом, за людоедскую жестокость и насилие — все правильно, такое движение неизбежно должно было возникнуть, но оно возникло, инспирируемое врагом, с оружием в руках заявившимся в твой дом, хозяйничающим в нем, но при этом лицемерно-нагло говорящим его обитателям, что он пришел навести в доме порядок. И вот эта скрытная, маскируемая возня с врагом, как тайное, постыдное деяние, ломало души вливавшихся в движение, делало его заведомо бесплодным и лишенным какой бы то ни было исторической перспективы. Люди расщепленные, духовно искалеченные не могут быть источником и началом созидательного действия. В колокол с трещиной не ударишь в набат.

— Так вы, говорите, видели Власова, — оторвал гость руку ото лба, — и что он?

— Мне он запомнился каким-то задавленно-угрюмым, с неправильным, неживым лицом, — медленно, с напряжением, сказал старец, глядя куда-то в сторону, — в первый раз это было в Праге в ноябре сорок четвертого, когда он зачитывал манифест Комитета освобождения народов России... Тогда мне едва исполнилось шестнадцать. Но я был приметлив, запомнил, все были неестественно возбужденны... Вечером, на банкете, многие с каким-то восторженным отчаянием и надрывом, по-русски, напились. И только Власов, как сажженный циркуль, трезвый, с небольшой свитой неприкаянно вымеривал пьяный банкетный зал... Лицо тягостно-неподвижно

ное, одеревеневшее. Было грустно и стыдно... — Старец печально вздохнул. — Второй раз я видел его уже в мае сорок пятого, когда наша походная церковь вместе с власовскими формированиями уходила в сторону американских войск. Он проехал мимо в большой черной машине, то был уже манекен в очках... Во всем его облике сквозила какая-то неприятная ускользающая размытость... Если бы не огромный рост, внешне он мог показаться до странности затертой и неприметной личностью. Вот так я воспринял его тогда еще подростковыми глазами, не изменилось во мне это ощущение до сих пор, увы...

— Почему, увы? — спросил гость не без удивления.

— Как вам сказать, уважаемый Борис Константинович, — старец несколькими аккуратными глотками, словно успокаивая себя, допил чай, — есть тут один нюанс... Власова принято ругать, и я только что тоже дал ему в чем-то отрицательную характеристику. Но мне выпало быть, пусть и по касательной, где-то рядом с ним... и теперь клеймить его позором в общем хоре было бы с моей стороны неприлично. Да, я сказал то, что думал всегда... это не конъюнктурные соображения. Но все же, все же, все же... — Старец поднял пустую чашку и полюбовался на просвет ее тонкими, нежно-прозрачными стенками. — Если бы вещи умели говорить... — улыбнулся он.

Гость с интересом посмотрел на старца.

— Теперь я понимаю, почему к вам идут люди... Но в жизни все грубее, жестче... те же власовцы, они записывались в РОА, наверное, без особых погружений в моральные и психологические нюансы... не хотелось умирать с голоду в лагерях, хватались за соломинку, шли на сотрудничество, лишь бы выжить...

Старец неопределенно пожал плечами, показалось, нахмурился.

— Но вы же знаете, что это не совсем так... Вы хотите от меня... — он замаялся, подыскивая нужные слова, — свидетельствований духовных терзаний этих людей... извольте, если это поможет вам. — Старец пристально, с задержкой, посмотрел на гостя.

Тот тяжело смутился и опустил глаза.

— Безусловно, были и те, кто шел, скажем так, под знамена Власова за гарантированную, как говорят сейчас, пайку хлеба... слабых простим в первую очередь, — старец перекрестился на образа, — но не будем упрощать... Многих, очень многих обидела Советская власть, я уже говорил об этом. И эта обида тлела где-то глубоко в душе человека, подавлялась страхом, придавливалась каждодневными заботами. Но вдруг этот человек с его вечной занозой попадает в такие обстоятельства, когда эту занозу принимают активно и поступательно тревожить, загонять глубже... Отдел пропаганды вермахта не спал, работал, я бы сказал, искусно. Человеку втолковывали, что его обидели враги России, закабалившие его Родину, большевики — антихристианские, антирусские, антинациональные силы. Они замучили и убили миллионы самых умных и сильных русских, с по-

мощью зловещих международных сил, неслыханного террора и репрессий подавили русское сопротивление, залили Россию кровью, штыками заставили бесплатно работать в колхозах, возродили второе крепостное право, лишили веры, несогласных убили или отправили за колючую проволоку... они замордовали и изнасиловали твою прекрасную Родину... И это начинает бередить, распалать старую обиду, заставляет ее набухать мщением и ненавистью. Появляются люди, из своих — Власов начал активно работать с отделом пропаганды осенью сорок второго года, — которые говорят, что немцы воюют не против народов России, а против еврейско-большевистской системы эксплуатации и террора, что они пришли не затем, чтобы поработить твою Родину, а чтобы искоренить этот проклятый большевизм, освободить русских из-под его кровавого ига. Мы можем стать их союзниками в борьбе с общим врагом — иудео-большевистской тиранией. Наши друзья и единомышленники в Германских вооруженных силах помогут создать нам собственную армию, которая в союзе с немцами освободит Родину, чтобы заново отстроить справедливое, народно-демократическое Российское государство. Вливайся, истинный патриот, в ряды Русской освободительной армии! Для многих эти слова бальзамом ложились на старые обиды... И шли, и вливались... А где-то шепотком гуляло — Власов сформирует русскую армию, скинет Сталина, а затем примется и за Гитлера. Помню, РОА горделиво расшифровывали — Русские обманули Адольфа. Свидетельствую, такие иллюзии были... Один из авторов идеи о русском антибольшевистском союзнике, искренне верящий, как рассказывают, в возможность осуществления этой идеи, талантливый, на мой взгляд, сотрудник отдела пропаганды вермахта, в прошлом офицер царской армии, воевавший в Первую мировую с немцами, капитан Вильфрид Карлович Штрик-Штрикфельдт, друг и соратник Власова, после войны оставил воспоминания с говорящим названием «Против Сталина и Гитлера». Так родилась теория о «третьей силе» в годы войны... Я рассказываю вам это так подробно, чтобы вы поняли, как все неоднозначно, сложно и запутанно было тогда... Можно предположить, что творилось в душах этих несчастных людей! — Старец достал из кармана подрясника платок и вытер повлажневшие глаза. — К отцу Александру Киселеву в нашу походную церковь приходили на исповедь сотни солдат и офицеров РОА. Я помню, многие покидали храм в слезах... Помилуй их, Господи! Наверное, уже все пострадали. — Старец еще раз перекрестился на иконы. — Отец Александр сказал как-то, что многие мучаются осознанием неявного греха. Я тогда не понял, о чем он... Но однажды случилось так, что застрелился один майор, человек до чрезвычайности вдумчивый и серьезный... Его товарищи пришли к отцу Александру испросить совета, как предать тело земле — офицер был нашим прихожанином, исповедовался и причащался. И вот пошел на такое... Ба-

тюшка был очень опечален и расстроен, плакал — погибла душа христианская, как он мог не заметить! В личных вещах самоубийцы нашли предсмертную записку. Это была короткая и страстная исповедь человека, видимо, очень тонкого и ранимого, попавшего в нравственную ловушку, из которой не знал выхода. Он писал, что никогда уже не сможет примириться с Советской властью — его родители, раскулаченные и вывезенные с детьми куда-то на Виссеру в Пермский край, погибли на лесоповале, их убило поваленным деревом. Самые младшие братья и сестры после смерти родителей умерли с голоду, которые постарше — разбрелись по миру... Он по подложной справке дослужился до капитана в Красной армии, жил в гнетущем страхе, что разоблачат. Это была не жизнь... Но и стрелять в своих, русских, участвовать в новой Гражданской войне он тоже не хотел. Его мучило, как он писал, «день и ночь жгло», что он ходит в полунемецкой форме, что армию формируют на немецкие деньги, что приказы отдаются немецкими офицерами, что он присягал когда-то советскому народу, а теперь переприсягает Родине и почему-то «вождю и главнокомандующему всех освободительных армий Адольфу Гитлеру»... Тонко чувствующий был человек. Он и, как я понимаю теперь, многие из РОА оказались между двух огней. И это была уже не «третья сила», а валежник, который неминуемо должен был сгореть между двух огней...

— И как похоронили этого человека? — неожиданно со странным запозданием спросил гость.

Старец поднял задрожавшую руку.

— Не смейте, не смейте даже думать об этом! — перекрестил он гостя. — Страшный, один из тяжелейших это грехов... Того, кто совершает такое, Церковь не сопровождает в последний путь.

— Не знаю, не знаю... — пробормотал гость, — когда нет выхода... как у того офицера...

— Выход всегда есть! — проникновенно, весь вложившись в чувство, воскликнул старец. — Если обратиться к Богу, раскрыв ему сердце, Господь всегда укажет, что делать. Он милосерден к каждому, и Он простит любой грех, если искренне раскаяться, и укажет дорогу... пока жив человек...

— Неужели нельзя попросить Бога хоть о каком-нибудь снисхождении к самоубийце, самом малейшем, — вырвалось у гостя, — ведь товарищи того несчастного за этим приходили к вашему священнику?

Старец закрыл глаза в глубоком раздумье.

— Вы правильно сказали — о снисхождении... Можно просить Бога о снисхождении... к наложившему на себя руки, — медленно сказал он. — Есть специальный чин для самоубийц... Священнослужитель, как бы от лица близких, просит у Бога прощения, что просмотрели, что не удалось остановить от страшного деяния покончившего с собой, просит о каком-либо снисхождении к самоубийце... «Вышши, Господи, погибшую душу раба твоего: еще возможно есть, помилуй». Что и сделал тогда, помню,

отец Александр над прахом того несчастного майора, совершив чин молитвенного утешения близких «живот свой самовольно скончавшаго»...

— ...Аще возможно есть, помилуй, — возбужденно повторил гость, — выходит, и у самоубийцы остается шанс быть помилованным Богом?

— Церкви это не известно, — пристально, со всей силой своего взгляда, посмотрел старец в глаза гостю, — душа самоубийцы погибает.

— Батюшка, отец Нектарий! — вдруг тихо, с замиранием прошептал гость, — если со мной что-то случится... помолитесь за меня как положено...

Старец продолжал смотреть, не отрываясь, в глаза гостю. Безотчетным движением он взял его руку, сжал ее своими сухими, маленькими ладошками.

— Все наши обещания и обязательства, все самые клятвенные слова — все пустое и тлен перед бесмертием души нашей... Не губите душу свою! — Старец, целуя руку гостя, упал перед ним на колени.

— Что вы, батюшка, встаньте! Или я застрелюсь от стыда! — В смятии гость вскочил с кресла, отдергивая руку и неуклюже пытаясь приподнять старца с пола. Сильнейший озноб сотряс его. — Как стыдно, как мне стыдно, отец Нектарий! Зачем вы так? — лихорадочно приговаривал он, усаживая старца на место.

— Теперь не застрелитесь, милейший Борис Константинович, — улыбнулся старец.

Гость онемело затрепетал перед старцем.

— Я изменник... предатель... я тоже между двух огней! — исторгнул вдруг он. — Я дал втянуть себя в темное дело. Может случиться непоправимое!

— Ни одного слова больше! — быстрым, упреждающим движением руки остановил гостя старец. — Ничего не говорите! Еще несколько слов — и из вашего доброго конфиденанта я превращусь в вашего лютого врага... Ни одного слова больше!

— Я шел за утешением, — мутно посмотрел гость на старца, — но еще больше запутался. Что делать мне?

— Не делайте то, что против совести. Я уже говорил вам об этом... — тихо сказал старец.

— Совесть говорит одно, а разум — другое... нет во мне лада между ними, — признался гость.

— «Я взглянул окрест меня — душа моя страданиями человечества уязвлена стала», — процитировал старец, — понимаю вас... Разум толкает честную душу на борьбу за лучшую земную долю человека, на борьбу со злом через насилие ведет. Но принять насилие, как метод исцеления человечества, не каждая совесть позволит... Ваша, вижу, не позволяет. Поэтому отступитесь, не калечьте себя... Только тогда начинаются истинные преобразования, когда идут они без насилия, когда человек нравственно и духовно созревает для преобразований, и все получается само собой, в полном ладу, как вы изволили заметить, между разумом и совестью.

— А как же революции, с их кровью и насилием, ведь для чего-то они помимо воли человека случают-

ся? И разве они не раскрепощают человека, не делают его более свободным? — нервно завертелся в кресле, присаживаясь, гость.

— Революции как раз и случаются не помимо воли, а исключительно по воле человека, точнее, по воле людей, у которых деградирует, если так можно сказать, совесть, и они, немерено проливая чужую кровь, становятся лишенными каких-либо сомнений, нравственных преград. Говоря о свободе, они прежде всего освобождают души свои от Бога, голосом которого в человеке является совесть, — вот почему они всегда атеисты, воинственные безбожники и агрессивные богоборцы! — горячо заговорил старец. — Такое же освобождение от Бога они через революцию несут и человеку, называя это раскрепощением личности и освобождением от духовных пут, заливая при этом сознание людей идеологическим суррогатом, предлагая вместо выстраивания души человека по божественным заповедям — идеи построения рая на земле, делаю человека вечным рабом материального преуспевания, корысти и наживы. Под лозунгами о свободе, равенстве, братстве, бесклассовом обществе и социальной справедливости революции возвращают человека в животное состояние, пробуждают в нем зверя, упивают его кровью, мутят рассудок, будят самые низменные инстинкты, а потом закабаляют и вяжут его социальным доктринерством, еще более тяжкими, чем до революции, обязательствами перед государством и обществом, массовым идеологическим обольщением... Обычно из-под гнета революционной химеры народы, совершившие сие преступное деяние, выбирают где-то около ста лет. Век уходит на очищение от крови и лжи! Век без Бога и без внутренней нравственной работы, которая единственно и отличает человека от зверя. Не слишком ли расточительно для нашей кратковременной жизни на земле?! — взволнованно закончил старец.

— Но вы же сами сказали, что человек имеет право на сопротивление системе, которая давит, угнетает его, — скользнув взглядом по лицу старца, спокойно, с тонкой усмешкой, заметил гость.

— Имеет, — почему-то засмутившись, кивнул утвердительно старец, — но снова повторю, только в согласии со своей совестью... но даже и так, все это — бессмысленная затея, — со вздохом сказал он.

— Не понял? — удивился гость.

— Если скажу, что все свершается по воле Божьей, вы подумаете — общие места, избитая, тривиальная мысль, — улыбнулся старец, — но за этой фразой, извините за безапелляционность, — великие смыслы, вся механика жизнеустройства... Плод не упадет, пока не созреет. Так и в отношениях человека с системой, с властью, ничто не нарушит баланс сил, пока эта власть не изживет себя, пока не наполнится иными, чаще всего враждебными ей, смыслами. Вот парадокс! Тогда подтачиваются удерживающие ее основы, и она падает, добровольно самоустраняется... Так было в России с императорской властью,

так случилось с Советской... Заметьте, без крови и насилия.

— Выходит, человеку остается только ждать, пока власть саморазрушится и упадет сама? Хорошенькая философия! — хмыкнул гость. — Пассивно ждать, пока она заливает страну гноем коррупции, разрушает науку и образование, останавливает производства, вывозит из страны, как из дома алкоголика, ее богатства, лишает будущности огромный народ? А не легче ли ее того... — гость наступательно дернул плечом, — пока она не привела Россию к окончательной катастрофе?!

— Здоровая и умная власть борется с тем, на что вы указали, — и тогда она прочна и долговечна. Нездоровая и неумная проявляет такую борьбу только на словах — и тогда век ее короток и жалок. Обычно такая власть, повторяю, самоликвидируется мгновенно... как будто ее и не было. — Старец испытующе посмотрел на гостя.

— Значит, терпеть и ждать? — иронично протянул гость.

— Терпеть и ждать, — строго повторил старец. — Сказано: «Всяка душа властем предержащим да повинуется». — И неожиданно добавил после короткой паузы: — Мне кажется, не надо этого делать...

Гость вздрогнул.

— Вы так думаете? — смущенно пробормотал он.

— Я скажу сейчас не как священнослужитель, а как человек, который прожил жизнь, как просто человек, которому, извините за пафос, небезразлична, дорога Россия! — с чувством сказал старец. — Современная власть не однородна и не однозначна, в ней слабо, но бродит огонек добродетели, есть надежда, что он заполнит ее всю, возгорится ярким пламенем, согревая и освещая путь людям... Не будем торопиться, чтоб не затушить под горячую руку этот слабый огонек... Как бы не наступили потом окончательный мрак и разрушение, чего веками добиваются враги России. Может стоит проявить терпение и мудрость, чтобы не стать прямыми пособниками антирусских сил, чтобы не стать, прости меня Господи! — новыми... власовцами.

Гость встал, бледнея, стукнул кулаком по сердцу.

— Вы бьете меня вот сюда! — прошептал он. — Именно власовцем... я об этом тоже думал... ведь мы с оружием в руках... и нарушается присяга!

— Не делайте этого... что хотите делайте, но только не делайте этого! — вспорхнул старец с табуретки, хватая гостя за руки. — Порвите, решительно порвите со всем и со всеми, а там что Бог даст! Твердо скажите, осеняя себя крестным знамением: клятву лжеклятвою не попираю!

— Если б вы знали, сколько я передумал — идти, не идти к вам... я обещал, что не пойду к вам, — с мрачным воодушевлением отозвался гость, — но теперь я благодарен Богу, что он привел меня сюда... словно плиту с груди отвалили. Я знаю теперь, что мне делать, я знаю, что сказать им... Я им скажу, что, целя в режим, они снова могут попасть в Россию,

погубить все, что они могут уподобиться тем несчастным, что пытались бороться с советским строем, а вставали в ряды врагов Родины и поднимали вольно или невольно оружие против своих братьев... — Гость с какой-то смертельной тоской и усталостью посмотрел на старца.

— Но только будьте... предельно осторожны, — сказал дрогнувшим голосом старец, затаивая вздох и опуская глаза. — У одного милейшего человека в городе, — в смущении продолжил он, — я познакомился с господином, до удивления похожим на вас... Алексеем Мальковым...

— Это мой старший брат, только у него фамилия отцовская, а у меня материнская...

— Почему-то я так и подумал, — не смог на этот раз сдержать вздох старец, — решительный человек... В детстве он вас не поколачивал случайно? — неожиданно спросил он.

— Нет, мы росли в разных семьях.

— Это многое объясняет, — понимающе улыбнулся старец, усаживаясь на прежнее место. — Между прочим, в этой книге, — кивнул он в сторону фолианта на столе, — встречается фамилия Мальковых... Это своего рода дневник моего предка из семнадцатого века.

— Интересно! — воодушевился гость. — И что же там сказано о Мальковых?

— В книге упоминается семья Мальковых — Агафон и Марфа с их детьми, которые предали себя огню в нашем скиту, на месте которого потом поставили часовню, восстанавливать которую вы собрались... Немного, но в каком контексте! — воскликнул старец и неожиданно со значением добавил: — В ваших жилах течет протестная кровь...

— Наши предки за веру сжигали себя, шли до конца... — нахмурился гость. — Эту историю я знаю. Мы действительно по отцу староверы из Никольского, есть тут село километрах в двадцати пяти вверх по Боганке, до сих пор глушь непролазная. Брат составлял родословную, находил подтверждения этой гари с нашими предками в каких-то других источниках...

— Тогда вы, верно, знаете и историю, что дети этих самосожженцев спаслись? — живо спросил старец. — Тут кроется какая-то тайна. Вашему брату на сей счет в документах ничего не попадалось?

— Про спасшихся детей от брата слышал, — сказал гость, пряча глаза. — Думаю, просто легенда.

— Не знаю, не знаю... — пристально посмотрел старец на гостя, — есть в этой книге, — он снова кивнул на фолиант, — одна странная запись, что дети числом до семидесяти разобраны были потом по дворам людей древлеправославного чина. Что за дети, как они оказались, так много сразу, в доме моего предка протопопа Никиты? Несколько предложений до этой фразы, как я понимаю, объясняющих смысл записи, густо зачернены, замазаны... не разобрать... но я постараюсь...

— Думаете, удастся разобрать? — напрягся гость.

— С помощью специальной техники, разных приемов... почему бы и нет! — уверенно сказал старец, — в одном реставрационном центре в Москве у меня работает старый знакомец еще по загранице, он тоже вернулся, большой поклонник древнерусской иконы... он такие чудеса творит! На этой неделе я отвезу ему книгу, и тайна удивительного спасения детей, думаю, будет раскрыта.

— Спешите, святой отец! — вдруг вырвалось у гостя. Судорога исказила его лицо. — Вы можете спасти все одним только касанием, одним только прикосновением... — сбивчиво заговорил он, — я рассказать все сейчас не могу... И если откроется эта тайна с детьми... а там откроется потом еще большая тайна! Вы ее обнаружите и одним этим сорвете все их планы и все спасете... Спешите! И низкий вам поклон за все! — Гость в лихорадке вскочил с кресла, сделал неуклюжую попытку поклониться старцу, но только раздраженно отмахнулся от чего-то и, на ходу прихватывая плащ и бейсболку с гвоздя в дверном косяке, опрометью бросился из кельи.

9

Чем меньше оставалось времени до окончания ремонта в установленный срок, тем чаще появлялся у меня во дворе Леха. Оно и понятно, срок был положен им жесткий — почему-то непременно к пятнице. Приезжал он обычно на короткое время, бежал в подвал, «проводить планерку», затем уезжал. Говорил, что получил спецпропуск в воинскую часть и начал завозить стройматериалы на часовню. Видно было, крутился человек. Был он всю неделю до известных событий как-то затаенно и зло немногословен, собран и чрезвычайно деятелен. Со мной обычно перебрасывался парой фраз, все больше о Мише Васильеве — приедет ли? На рабочих часто спускал собак, ярился, жестко подгонял. Те выкладывались в полную меру сил. На работу приходили к семи утра, заканчивали поздно. Достраивали терраску при свете мощной лампы, которую вывели на улицу.

В четверг, после полудня, все было закончено. Подъехал Леха, вместе приняли работу. В подвале я особенных перемен не заметил — пара швеллеров на полу и под потолком, между ними несколько стальных подпорок, вдоль стен с десяток забетонированных шурфов. Непонятно, куда ушло столько цемента? На что Леха разъяснил, что шурфы пришлось бить под уклоном на несколько метров глубиной, вот туда весь бетон и закачали. Я понимающе кивал головой... А вот терраска получилась отменная. На высоких столбах, просторная и светлая, она ладно прилепилась — как будто была тут всегда — к глухой стороне дома (от опоясывающего, кругового варианта, чтобы не портить общий вид старой постройки, решили отказаться) с видами на Заречье. С первого этажа в нее был проделан отдельный вход. И теперь, не выходя из дома, можно было любоваться, скажем, за чаем, нашими «вечными просторами».

И в целом, как я уже говорил, моя древняя халупа, обшитая сайдингом, а теперь еще с роскошной терраской, невероятно похорошела и заиграла. Не буду скрывать, меня распирало довольство. На радостях я «накрыл поляну» под липами. Пока строители загружали инвентарь и остатки материалов в рафик, пока умывались и рассаживались за столом, отвел Леху в сторону. Достал деньги за работу, по моим возможностям довольно приличную сумму.

— Что ты! — решительно отвел в сторону мою руку с купюрами Леха, — мы же договаривались, я делаю это исключительно по дружбе... а потом принимай это как скромное вознаграждение за старания с часовой. Кстати, — достал он из кармана конверт, — здесь обещанный гонорар твоим пиарщикам.

Принимая конверт от Лехи, я все-таки попытался впихнуть ему мои деньги в карман куртки. На этот раз Леха жестко ошетинился.

— Я же сказал, не надо! Что ты сопли разводишь! — зло бросил он. — Ты своим интеллигентским сюсюканьем достал меня!

Теперь было впору обижаться мне. Я набылчился.

— Ну, ладно, извини, — по-дружески приобнял меня за плечи Леха, — ты не представляешь, как замотался я... все на нервах, — и неожиданно странно шепнул на ухо: — Может, скоро деньги для меня совсем отменят... попаду прямиком в... коммунизм.

За столом Леха был мрачно сосредоточен. Сам только пригубил, рабочим в приказном порядке разрешил не более трех рюмок. «Завтра ответственная работа на территории», — сказал он. Усатый, переглянувшись с товарищами, согласно кивнул головой. Я поблагодарил всех за ремонт, принял чуть больше нормы, чувствуя, как заползает в сердце странная, казалось бы беспричинная, тревога и немотивированная грусть. Обычно, как я уже говорил, подобное со мной случается после выпивки. А вот, чтобы в процессе... такое было впервые. Я подумал, что в этот отпуск почему-то совсем не отдохнул и что это Леха своим угрюмым, насупленным видом нагоняет уныние и тоску. И принял еще. Расставались мы с Лехой опять же до странности, как никогда, тепло и сердечно, я бы сказал, даже прочувствованно, чуть ли не со слезой. С чего бы это, суровый и трезвый, Леха так растрогался и размяк?

Лучшим средством от разного рода недугов, в том числе и душевных, в родном Своробоярске для меня была, как я уже говорил, прогулка по реке на лодке. А тут еще вдруг и старца захотелось повидать. Что-то угадывалось в нем особое, был он, безусловно, из какого-то другого мира, в прямом смысле носитель истории, и это к нему меня страшно влекло... Словом, я отвязал лодку и направился к монастырю. Но вот незадача, как и в прошлый раз, у монастырских ворот мне объяснили, что старец в Москве и будет только завтра. И слава богу, думал я на обратном пути, а то появился бы перед почтеннейшим, старым человеком крепко выпившим.

Усиленная работа веслами, да еще против течения, выгнала хмель, как хорошая парилка. Подгребая к своему бережку, я подумал вдруг: а не много ли было возни с подвалом? Странная мысль, догадка не догадка, но что-то похожее на озарение, заставила меня быстро управиться с лодкой и на рысях поспешить к дому. Я спустился в подвал, включил свет и на коленях принялся сантиметр за сантиметром простукивать, прихваченным в подсобке молотком, каменные плиты пола. Я излазил подвал вдоль и поперек, передвинул с места на место кучи какого-то накопившегося старья, но нет, плиты везде отзывались ровным, чистым звуком. «Но ведь что-то они однозначно искали, прикрываясь всей этой чепухой об укреплении фундамента!» — все больше увлекался я неожиданным предположением, ползая на коленях по вместилищному каменному пространству. Я оглядывал высокие арочные своды, тщательно выложенные красным кирпичом с белыми известковыми швами, тяжелую, какую-то монументальную глыбистость стен из плотно подогнанных огромных валунов, и думал, что эта пещера, невероятно прочно и старательно сработанная, не может не хранить какой-либо тайны... Ведь не для картошки же только и поломанной утвари она сооружалась! Покончив с полом, простукав основательно стены решил с утра. Я почувствовал, что очень устал, да еще эта выпивка, и пошел спать.

Наступила пятница. Несчастливый день пятница... Уже с утра все пошло не так. Раньше времени заявился Миша Васильев, — я договаривался с ним где-то к двум-трем, а он подкатил к одиннадцати, — «проскочил без пробок», сказал он таким тоном, словно выиграл миллион в лотерею. И нарушил все мои планы с подвалом. Я встал, как обычно, поздно и как раз к одиннадцати намеревался заняться там стенами. Теперь все откладывалось на потом. Не полезешь же с Мишей в подвал, не начнешь при нем простукивать стены. А меня распирало, я чувствовал, что обнаружу что-то очень важное... Я злился, и как это мне вчера не пришло в голову, что Васильев может появиться раньше обговоренного времени и обрушит все мои планы. Сказано, ругал я себя, не откладывая на завтра...

— Что-то ты сегодня, дружище, какой-то озабоченный и выглядишь бледновато, — сказал Миша, выкладывая на стол под липами московские подарки. В этот приезд он решил, видимо, отдариться. — Не случилось ли чего? — пощупал он меня своими непроницаемыми шоколадными глазами.

Я сослался на головную боль с утра. Что, впрочем, было недалеко от истины. Чувствовал я себя неважно. Голова была тяжелой, мутило.

— Атмосферное давление растет. Я тоже стал метеозависимым... обычно глотаю цитрамон, помогает, — участливо откликнулся Миша и добавил, посмотрев на небо: — На завтра и на послезавтра обещают почти летнюю погоду... Легче народ на площади собрать... — добавил он.

— Ты это о чем? — уловил я в Мишиных словах скрытый намек.

— Да так... — пожал плечами Миша, — Феодосий Палыч звонил, приглашал на митинг.

— Совсем сбрендил балабол несчастный! — вырвалось у меня.

— Как знать, как знать, — пожал плечами Миша, — судя по прошлой встрече, настроен он весьма решительно тронуть местный змеиный клубок.

— Да чего они могут — десяток провинциальных говорунов, — сказал я, нарочито позевывая.

— Вот именно — провинциальных! — поднял вверх указательный палец Миша. — Тут надо все усваивать в общем контексте... Шеф намекнул, что сегодня на Совбезе будет рассматриваться вопрос о протестных настроениях в регионах. Понимаешь?

— Неужто протестные настроения нарастают? — не скрывая иронии, спросил я. — Что-то не заметно невооруженным глазом...

— Это хорошо, что невооруженным... — хмыкнул Миша и с важностью человека посвященного, добавил: — По закрытым данным, все не так просто... А вообще-то размышления-откровения этого, как ты говоришь, балабола тебе хорошо знакомы?

Я утвердительно кивнул. Что-то подсказывало мне, что слова тут будут лишними.

— Этот старикан ловит определенное биение общественных токов, — повел Миша, словно к чему-то принохиваясь, своим тонким, хищным носом, — у него, говоря на современном сленге, есть чуйка. У людей накапливается усталость от коррупции, бездействия, безынициативности местных властей, когда не просто воруют, а саботируют от лени и вседозволенности инициативы верховной власти... все поголовно зажрались и опаскудели... Я вот второй раз в вашем городке, проехал сегодня, внимательно посмотрел — какая дикая запущенность и убожество кругом! Что, нельзя навести элементарный порядок — почистить дворы, отмыть подъезды, подмести тротуары? Что, нет денег? Да денег на это надо три копейки! А это значит, всё, всё до последнего грошика разворовывается, и полный пофигизм! Одна забота — пока у власти, набить карманы. А там трава не расти... И это все твой Феодосий Палыч тонко чувствует... Он мне прошлый раз много чего порассказал... Его оценки совпадают с выводами закрытых исследований... Людей начинает все это доставать. Тут только в нужное время и в нужном месте спичку поднеси — разом все может полыхнуть!

Я молчал. Голосом Миши одновременно говорили и Феодосий Павлович, и Леа. И это было странно. Как будто Миша воспроизводил магнитофонную запись размышлизмов обоих.

— К слову, — продолжил Миша после небольшой паузы, так и не дождавшись моей реакции, что вызвало у него, как мне показалось, явное неудовольствие, — идея Никонорова о превращении России в мировой центр традиционализма, очень понравилась шефу. Это действительно может стать ме-

гапроектом для возвращения России в разряд супердержав. Напоенная энергией и созиданием всех здорových сил мира, наша Раша может стать локомотивом возрождения человечества. Иначе — Содом и Гоморра размером с планету Земля...

— Идея понравилась, дальше что? — Я с трудом сдержал раздражение.

— Шеф обещал озвучить ее самому... — Миша показал глазами наверх.

— А вдруг это случится сегодня на Совбезе?! И Феодосия Палыча сделают советником «самого», ответственным за мегапроект, его идея возродит страну, изменит ход истории... — заерничал я.

— Пока, увы, все необходимо сделать с точностью до наоборот — остановить Феодосия Палыча! — снисходительно прищурился на меня Миша.

— Как это — остановить?! — вскинулся я.

— Да так... обыкновенно, — с нарочитым равнодушием пожал плечами Миша, — необходимо отозвать разрешение на проведение митинга.

— То есть запретить? Замечательно! — не удержался от сарказма я. — Это, пожалуй, самое надежное средство в борьбе с протестными настроениями.

— А что делать, — иронично смерил меня взглядом Миша, — старик и его окружение своей общественной активностью могут спугнуть главного местного казнокрада... этого, как его... курочка по зернышку... Крошкина. Понимаешь, — тихо сказал Миша, — так они всю операцию невзначай завалят.

— Какую операцию? — прилип я к скамейке.

— Из одного источника... — тщательно подбирая слова, продолжил Миша, — поступила информация, что там, — он показал глазами в сторону Заречья, — что-то не так, есть подозрения, что местная власть в каком-то сговоре с вояками... Может, бабло пилят, а может, и похуже что. Точных данных нет... надо разбираться. Да тут еще этот старец из Америки прибыл... Ты ничего такого не слышал? — ошарашил он меня откровенным вопросом.

— Ничего... — растерялся я и почему-то постарался честно посмотреть Мише в глаза. Миша тонко ухмыльнулся.

— В общем, — приблизил он свое лицо ко мне, — этому «курочке по зернышку» не надо пока мешать лакомиться бюджетным пирогом... Надо посмотреть, куда от него ниточки тянутся. Теперь он под надежным колпаком, главный землемер свое дело делает.

— Калеватов? — совсем не удивился я.

— Он самый, — усмешливо сказал Миша. — Теперь давай перекусим, и я поеду «куда надо» отменить митинг. Заодно загляну и к Калеватову-Колобоковатову, который от всех ушел, а от нас не уйдет... операция по покупке участка продолжается, — пошловато подмигнул он мне.

Мы выпили по рюмке-другой. Закусили красной рыбкой. Миша, я заметил еще со студенческих времен, любил рыбку. Сколько селедки и скумбрии с горячей картошкой под пиво и споры было съедено... Неужели он все-таки уже тогда?..

— Слушай, а ты давно там? — брякнул я и побарабанил пальцами себе по плечу.

— Вижу, голову совсем поправил, — заиграл глазами Миша, — хорошие вопросы задаешь.

— Нет, ну, все-таки... Вспомнились гулевания в общаге, вольные беседы... неужели с тех времен? — решительно напирал я.

— Успокойся, дружище, даже если бы это было и так, никто же не пострадал!

— Что верно, то верно, — кивнул я, — бывали речи крамольные... Про тебя, кстати, говорили, что ты оттуда. А нам еще и двадцати не было...

— Дело прошлое... наследственное, — витиевато сказал Миша, — от родителей к старшему брату... он появился на свет раньше меня на целых двадцать минут... от него ко мне...

— Слушай, старина, — стукнул я рюмкой по столу, — только ты меня в свои дела не впутывай! Я честный, простой журналист!

— Рад бы, да не могу, — смаргивая взгляд, часто затрепетал ресницами Миша, — оказался ты, соколик, волею рока востребованным могущественными силами, попал ты, дружок, под колесо истории...

— Мне не до шуток! — застучал уже кулаками по столу я.

— И мне, — посуровел Миша, — никто тебя никуда впутывать не собирается... Получилось так — вот незадача! — что именно рядом с тобой оказались люди, которые нас интересуют. Потерпи, буду приезжать, долго «покупать» участок под дачу, отираться здесь, знакомиться через тебя с этими людьми... Извини, почему-то все они крутятся именно вокруг тебя... Ты должен соблюдать только одно условие — не трепаться, держать язык за зубами.

— И все-таки это какое-то косвенное вовлечение, — промямлил я. — Зачем ты все это мне рассказал? И что это за странное замечание, что все они крутятся именно вокруг меня?

— Вот, правильно размышляешь, — с веселой назидательностью сказал Миша, — действительно, бросается в глаза, что они почему-то сгруппировались вокруг тебя... И, если б я не знал тебя почти тридцать лет, ты оказался бы тоже, как это говорят, в разработке... Но ты не в разработке...

— Благодаря тебе? — начал закипать я. — Спасибо, благодетель!

— Да, благодаря мне... напрасно иронизируешь, — с неожиданной повелительной холодностью бросил Миша. — Я знаю тебя... на что-то такое, — пошевелил он растопыренными пальцами у виска, — ты никогда не пойдешь... Ты вне подозрений, и поэтому я тебе все, что позволено, рассказал... И никуда я тебя, ни косвенно, ни прямо не собирался и не собираюсь вовлекать. Но ты, — Миша вдруг широко посмотрел мне в глаза, — проходишь как связующее звено, — увы, таких ты себе здесь друзей подобрал, — поэтому тебе, понимаю, как истинному интеллигенту и «честному, простому журналисту», — не удержался, съехидничал он, —

придется претерпеть определенные нравственные неудобства.

Слушать мутные речи Миши я был дальше не в силах.

— Да не хочу я ничего претерпевать! — зашелся я. — И всю эту твою конторскую эквилибристику слушать не хочу! Какое, к черту, связующее звено? Вяжите ваши звенья и узлы без меня! Завтра я уеду отсюда и давай больше в этот сюр не возвращаться!

— Как скажешь, — пряча взгляд, опустил глаза Миша, — только, боюсь, этот сюр настигнет тебя без твоего и моего согласия.

Миша сделал выразительную паузу. Я, стиснув зубы, приходил в себя.

— По той информации, — скупобронил Васильев, — каким-то боком, в каком-то раскладе — информатору достался только обрывок случайно подслушанного разговора на улице, — должен быть в какой-то темной комбинации использован твой дом. Ты ничего не замечал тут, не было ли каких-нибудь нечаянных, подозрительных визитеров? — снова в лоб спросил меня Миша.

На этот раз я только поморщился.

— Хорошо, хорошо, не буду, — сделал успокаивающее движение рукой Миша, — а ремонт тебе сделали приличный. Что за люди у тебя работали?

— Люди как люди, — сказал я нейтрально, — профессионалы, пахали как звери.

— А откуда они, кто их привел? — вкрадчиво спросил Миша.

— Леха Мальков, это его работники... из его строительной бригады.

— Мальков — это тот, с неандертальской челюстью? — неприязненно гримасничая, скопировал Леху Миша. — Кстати, он обещал в прошлый раз подъехать сюда, встретиться. Что-то его не видно...

— Закрутился, наверное. Начал восстанавливать часовню... — сказал я, доставая из кармана куртки заработавший мобильник, — о, легок на помине! — на мониторе высветился номер Лехино телефона.

Леха справился, приехал ли Миша, и попросил передать ему трубку. Переговорив с Мальковым, Миша задумался.

— Приглашает вечером поужинать, как и в прошлый раз, «У Вадика»... Не помню, но, кажется, про Совбез я ему не говорил, но он откуда-то знает...

Я извинился, что допустил утечку информации.

— Это меняет дело, — облегченно выдохнул Миша, — а то черт знает что лезет в голову... Неприятный тип, этот Мальков, скрытный, решительный, какой-то обозленный... В руках таких в определенных исторических обстоятельствах лезвие гильотины порхает, как бритва искусного брадобрея.

— Ты его демонизируешь... гильотина... ну, просто Робеспьер Свободяжского уезда, — засмеялся я, — обыкновенный делец средней руки... тут станешь обозленным между чиновниками и бандитами.

Миша насмешливо хмыкнул, иронично пощупал меня взглядом.

— Мне пора на встречу, «простой и честный журналист»... Ну, ты, Кирюха, выдал! Перл! Всем расскажу, какой ты журналист. — И он захохотал, направляясь к машине.

Я бросился в подвал. Обстукивать стены начал почему-то справа налево, а не наоборот. Начал бы наоборот, не случилось бы того, что случилось потом... Но кто знает, с какой стороны лучше обойти змею... Я вспоминал Мишины слова, что дом может быть использован кем-то как-то не так, что удивительно совпадало с моими неясными интуитивными ощущениями, и в каком-то возбужденном состоянии тщательно простучал каждый камень в правой стене. Ничего подозрительного. Приступить к противоположной стенке, со стороны Заречья, мне не дал внезапный шум наверху в доме. Кто-то громко, почти заполошно, звал меня по имени. Чертыхнувшись, я поднялся из подвала на крик. Это был взъерошенный, с белой пенкой в уголках рта Никоноров.

— Эти раблепные пакостники, эти ничтожества, они отменяют митинг! — завопил он, увидев меня. — Звоню тебе по городскому, звоню по мобильному — ты не отвечаешь! Надо что-то делать! Какое они имеют право отзывать разрешение на проведение мирной акции?!

— Вы что, бежали сюда?... Городской телефон на втором этаже, а мобильный в подвале не берет, — не нашел ничего глупее сказать я.

— Да плевать я хотел на твой мобильный! Что будем делать? — тарашил глаза Феодосий Павлович. — Люди сориентированы, оповещены... Они думают так просто остановить крупное общественное мероприятие? Нет, господа чиновники, так не пойдет! Все до единого выйдем! Пусть лупят дубинками, кидают в автозаки! Они нарвутся на скандал! Они думают с нами, как с малыми детьми — конфетку дал, конфетку взял. Вот продажное, трусливое племя! Слушай, Кирилл, — нервно сказал он, — твой влиятельный приятель из Москвы еще не приехал? Может, его на наши кувшинные рыла напустить?

— Он здесь, уехал в офис Малькова, по будущей даче что-то порешать, — соврал я. А что мне оставалось делать, не рассказывать же Феодосию Павловичу о Мишиной непростой миссии к нам. «Вот так и становятся связующим звеном», — неприязненно шевельнулось в душе. Больше всего хотелось мне побыстрее выпроводить старика, чтобы вернуться в подвал.

Но Феодосий Павлович назойливо не уходил. Он, видимо, решил все-таки дожидаться моего «влиятельного» гостя и через него попытаться что-то изменить. Чувствовалось, решение о запрете митинга больно задело его. С обидой он начал рассказывать, как долго писал речь, как сам рисовал плакаты, обзванивал чуть ли не каждого... В расстроенных чувствах Феодосий Павлович отказался даже от рюмочки, только вяло съел бутерброд с рыбой и запил минеральной водой. Бурно выплеснув эмоции, стал тих и задумчив. Так и просидел на лавочке под липами

практически молча где-то около часа. И только когда минуло четыре, спохватился, что на шестнадцать тридцать у него собирается правление НКО. Он ушел, на прощание сказав, что завтра, тем не менее, ждет меня в десять на митинге. Он на что-то решился. Я еще раз пообещал, что приду.

Странная лень и всепроникающая апатия напали на меня после ухода Феодосия Павловича. Какое-то полное замирение случилось во мне и вокруг. Беззвучно умирали и падали в золотистых столбах света на землю листья с деревьев. Я пригнулся под еще теплым сентябрьским солнцем, разомлел, голова моя сама легла на столешницу, и я под назойливую мысль о подвале, что надо встать и идти, вдруг как-то мгновенно и сладко заснул. Во сне я увидел Леху, склоненного и горько рыдающего над мертвым, израненным, в крови, телом брата. Почему это было тело Лехино брата, которого я отродясь не видел, объяснить во сне я не мог. Но ясно понимал все именно так. Проснулся от страха, пробравшего ледяным холодком волосы на затылке.

— Во сне ты стонал, — сказал Миша, уже сидевший напротив за столом, — что-то страшное приключилось?

— Ужас! — потряс я головой.

— Послеобеденный сон — тяжелый сон, — понимающе посмотрел на меня Миша, — всегда приносится какая-нибудь галиматья... да еще в пятницу, — зачем-то добавил он.

— В пятницу?

— Ну да, в пятницу, — кивнул Миша, — нечистый, inferнальный день.

— Ну, ты скажешь тоже, — заторможенно сказал я, все еще не приходя в себя от пережитого во сне. — Наделал ты, брат, делов! — вырвалось у меня, — Феодосий Палыч уже прибежал как наскипидаренный.

— Чего ему? — насторожился Миша.

— За помощью прибежал... к тебе, как большому человеку из Москвы, — сказал я, подавляя раздражение, — митинг-то прикрывают, шустило ты наш!

— Пусть побегают, старый болтун! — зло бросил Миша. — Он так и не понял, в какое время переполз... дитя эпохи кухонного вольнодумства.

— Удивительно, такими же эпитетами его награждает и Леха Мальков, — почему-то сказал я.

— Твой Леха — не дурак, — цапнул меня взглядом Миша, — объект, достойный изучения... Кстати, обещал подъехать к пяти, — Миша взглянул на часы, — сейчас начало шестого. Непунктуальный, однако, этот Робеспьер Своробоярского уезда... — неприязненно ухмыльнулся он.

И в этот момент у Миши зазвонил телефон.

— Какой-то незнакомый номер, — насторожился Миша, извлекая мобильник из кожанки и привычно поднося его к уху. — Вас слушают... — отретив ладонью баском, бархатно проворковал он в трубку.

Через минуту он стал белее мела и судорожно переключил аппарат на громкую связь.

— Повторяю, сейчас ты возьмешь телефон спецсвязи, — услышал я командно-свирепый голос Леха, — он лежит у тебя в боковом кармашке, рядом с кобурой, наберешь своего шефа и будешь передавать ему слово в слово то, что скажу тебе я. Тот в свою очередь будет передавать все президенту. Совбез уже начался. Ты все понял?

— Я не стану этого делать!

— Тогда в заявлении нашего комитета в Интернете я специально подчеркну, что твоя рабья трусость, плебейское желание спасти собственную шкуру привели к катастрофе, которую можно было избежать. Ты погоришь еще страшнее, пойдешь, как недонесший, а то и вероятный соучастник... отмазывается потом! А так есть шанс всего лишь стать связующим звеном, — с явной издевкой отхлестал Мишу Леха. — Выбирай, недреманное око!

Миша достал из бокового кармана изящный, на вид очень дорогой, в серебристой окантовке мобильник, нервно перекрестил им себя и нажал на кнопку на панели.

— Переведи на громкую связь! — приказал Леха, как будто стоял рядом.

Долго, показалось, слишком долго никто не отвечал. Миша приходил в себя, схлынула бледность, сфокусировался взгляд. Наконец, трубка донесла достаточно знакомый голос третьего человека в государстве.

— Ты что, одурел! Не знаешь, где я?! — гневно заговорил Мишин шеф.

— Виктор Сергеевич, ЧП, страшное ЧП! — простонал Миша. — Я в Своробоярске... на территорию местной ракетной части пробрались какие-то безумцы... отморозки... говорят, заминировали шахтную установку... предъявляют политические требования... в случае невыполнения грозят взорвать ракету с ядерной боеголовкой.

— Вы где сейчас? Как вы? — перешел на «вы» третий человек в государстве.

— Я на связи с ними, по параллельному телефону, — срывчато просипел Миша.

— Не прерывайте связь... ждите, — в нерешительности сказал третий человек в государстве. И после паузы добавил: — Возвращаюсь на заседание.

Миша стоял, как на готовой взорваться мине, подобравшись и вытянувшись в струнку, нелепо зажимая голову с обеих сторон телефонами. Крупные капли пота выступили у него на висках и на лбу. Я достал платок и, как ассистент к хирургу, потянулся вытереть Мишино лицо. Миша вытаращил в испуге глаза, а потом благодарно закивал головой.

— Докладывайте, что у вас? — вдруг ровным, спокойным голосом заговорил президент.

Миша вздрогнул и снова страшно побледнел.

— Товарищ президент! На территорию Своробоярской гвардейской ракетной дивизии пробралась группа террористов... — зачастил было он.

— Это я уже знаю, — прервал его президент. — Мне сказали, вы держите с ними связь по параллель-

ному телефону. Включите громкую связь и поднесите его к трубке, по которой сейчас говорите... Возможно, слышимость будет достаточной.

— Возможно, — глупо сказал Миша и приблизил задрожавшими руками, как две тротильные шашки к детонаторам, телефоны друг к другу.

— Кто вы? И чего хотите? — в меру властно, уверенно спросил президент. — Вы слышите меня?

— Глава комитета «Спасение России» Алексей Мальков, — тоже достаточно твердо ответил Леха.

— Не знаю такого комитета, — бестрепетно произнес президент, — так чего вы хотите?

— Не многого, — сказал нарочито весомым голосом Леха, — всего три условия. Первое. Вы немедленно отправляете в отставку в полном составе ныне действующее правительство с одновременным назначением нового премьер-министра из числа сильных, волевых государственников-интеллектуалов. В вашем окружении их, к прискорбию, немного, но есть... Второе. Вместе с новым премьером вы формируете правительство народного доверия и объявляете новый курс развития страны на мобилизационной основе. Россия медленно умирает. Этому надо радикально положить конец. И третье. Вы назначаете по состоянию здоровья дату досрочных президентских выборов. С расчетом по времени, что страна сможет достойно оценить нового главу кабинета министров и проголосует за него. — Леха помолчал. — У вас на раздумье чуть больше часа... в девятнадцать ноль-ноль вы должны выступить с соответствующим обращением к народу... Иначе рванет ядерная ракета с непредсказуемыми последствиями. Таймеры уже включены.

— Это грязный шантаж, — грозно повысил голос президент на фоне хорошо различимых возмущенных выкриков, видимо, членов Совбеза. — И вы за него ответите по всей строгости закона.

— Это принуждение к действию, — с вызовом ответил Леха. — Все, что могли полезного для страны, вы уже сделали. Но, к сожалению, вы не реформатор... выстроить новую, могучую Россию, как показала практика, не получается. Сейчас России нужен другой человек... Отдайте власть энергичному, решительному и образованному государственнику современной формации, пока вас не смел праведный народный гнев или инспирированный пятой колонной какой-нибудь московский «евромайдан». Не доводите страну до новой великой смуты, она ее больше не выдержит...

— Что с командиром части полковником Шатовым? — резко перебил президент Леху.

— Он взят в заложники! — отрывисто бросил тот.

— Вы можете дать ему трубку? — помолчав, спросил президент.

— Он оказал сопротивление... сейчас изолирован, — осторожно сказал Леха.

— Мерзавцы! Вы и за это ответите! — яростно вырвалось у президента. — Как террористы вы будете уничтожены!

— Мы знали, на что идем... — мрачно изрек Леха, — мы готовы умереть ради величия и процветания России... Но и вам, — возвысил голос Леха, — не удержаться после взрыва. У взрыва будет длинная волна... До вашего обращения к народу остался ровно час! — выпалил вдруг он и отключил телефон.

— Не пугайте и не прикрывайтесь святым словом «Россия», ничтожество! — выкрикнул уже безадресно президент.

Повисла мертвая пауза.

— Кажется, отключился, — прокомментировал президент и, судя по характерному шороху, отшвырнул от себя трубку.

— Срочно отправить группу захвата! Какая там рядом армейская часть? Подтянуть войска! Блокировать по периметру, чтоб мышь не проскочила! Поднять спецназ! Задействовать местное ФСБ и полицию! — Какое-то время Мишин спецмобильник неясно воспроизводил шум и разноголосицу Совбе-за, пока кто-то там, на другом конце провода, не догадался отключить телефон. Видимо, это был Мишин шеф. Только после этого сбросил с себя оцепенение и Миша.

— Я же говорил! Я же говорил тебе, что он сволочь! — подскочил, как со змеей в штанах, Миша. — Что он творит, гадина! Что он творит! — забегал он вокруг стола фаустовским пуделем.

Я оглушенно молчал. На моих глазах со зловещим треском разрывалось и летело в тартарары привычное бытие.

— Я убью его! — остановился в кружении Миша и выхватил откуда-то из-под мышки пистолет. Голова его затряслась, глаза налились кровью, волосы приподнялись на макушке, и он остервенело расстрелял всю обойму в воздух. — Всё пропало! — рухнул он на скамейку, сметая рукой с оружием бутылки и снесь со стола. — Всё пропало, Кирюха! — вдруг завыл-запричитал он. — Всё летит к едреной фене! Тридцать лет безупречной службы... В ноябре мне давали полковника, переводили в Администрацию, сытая, безбедная старость... все к едреной фене! Мне надо было здесь появиться раньше... ведь наш человек засек этот м...цкий разговор еще весной... подумали, услышался. Теряем нюх, теряем страну... четвертый раз за столетие... На этот раз соберем ли?! И все из-за каких-то нетерпеливых безумцев! Авантюристов и радикалов! Когда же русский человек поумнеет?! Когда он перестанет позволять манипулировать собой?! — Миша встал из-за стола, на глазах его навернулись слезы. Дрожащими руками он механически поменял обойму в магазине пистолета, механически передернул затвор, загоняя патрон в патронник. — Надо позвонить в местное ГПУ, хотя уже, наверное, они все знают... — Миша набрал номер на мобильном и, негромко, заговорив с кем-то, пошатываясь, удалился в глубь сада. Потом он нервно ходил между яблонями, часто неприлично плевался и ожесточенно, с

размаху пинал носками ботинок подвернувшуюся падалицу в траве.

Через полчаса в сторону Заречья над нами, свирепо работая винтами, прошли три боевых вертолета.

В великом унынии вернулся Миша к столу. Горестно проводил взглядом улетающие машины.

— Этих придурков, если они засели в шахте, с воздуха не возьмешь... да и небезопасно, — до странности равнодушно, что поразило меня, сказал он, — без наземной операции здесь не обойтись... Сейчас туда выдвигаются местные гэбисты и усиленный наряд полиции. А я посижу тут, покараулю на всякий случай... что-то от тебя ему все-таки нужно было. А если они и вправду взорвут ракету с ядерной боеголовкой? — расслабленно задался вдруг он безответным вопросом. — От детонации она может рвануть в шахте, ну, крышку снесет, атом вряд ли заиграет, хотя чем черт не шутит, но произвольный старт обеспечен... И где она приземлится?.. Ну, мрази, что устроили! А сколько вони Штаты поднимут — ненадлежащий контроль за ядерным арсеналом и прочее! Будем надеяться, их уничтожат раньше... А что он сказал о командире части? «В заложниках, в отключке»? Фарс, дешевая игра... они же братья. Не знал?! — Миша зло посмотрел на меня. Я не успел ответить. В кармане Мишиной кожанки вновь заболтал телефон.

— Это он, — взглянув на монитор, заколебался Миша, но все же нажал кнопку на прием. — Говори! — мрачно прорычал в трубку он, переводя разговор снова в режим громкой связи. Я понял — меня тащат в опасные свидетели.

— Нас атакуют! — кричал Леха. — Наши требования проигнорированы... Им же хуже будет! Скоро семь, обращения к народу, ясно, уже не будет. Это его роковая ошибка. — Миша поморщился и сделал движение отключить связь, но что-то его остановило. — Передай потом по инстанции, — продолжал возбужденно и торопливо Леха, — договориться можно было... не с нами, с народом теперь получается, со страной! Но решили, как водится, все через колено. Историческая ошибка, силой народ не возьмешь. Дни этого режима сочтены!

— Что ты, мразь, за пургу гонишь! — заорал, перебивая, Миша, одновременно странно каким-то холодным взглядом следя за мной. — Не говори за народ, упырь! Вас уничтожат! Соскоблят, как плесень! Я первый тебя шлепну, если встречу, урод!

— Не усердствуй особо-то, твое показное верно-подданничество уже никого не интересует! Ты сгорел! Передай своему начальству, что тебе говорят, членосос! И отползай в сторону... Ждите восточку! — надрывно прокричал Леха как бы на отдалении от телефона. В трубке послышались неясные выкрики, треск выстрелов, шорохи, похожие на шум борьбы.

Связь оборвалась. Мы переглянулись.

— Похоже, их начали вязать, — рассеянно повертев мобильник в руках, хмыкнул Миша, — заговорщики сраные...

Страшной силы взрыв в Заречье сотряс окрестности. «Вот и весточка!» — мелькнуло у меня в голове. Огромный черный столб дыма до неба гигантским факелом вспыхнул и засветился над лесом. В лучах заходящего солнца он на глазах наливался дьявольским рубиново-красным светом. Казалось, все силы ада слили в него огненное содержание реторт своих подземных лабораторий. Достигнув пика высоты, черно-красный перст преисподней обмяк, пополз вниз и сизыми рыхлыми облаками стал приседать на обруч горизонта. Земля содрогнулась и заходила ходуном, словно учащенно забился ее незримый пульс. В следующее мгновение удар горячего воздуха, спрессованного до силы пушечного ядра, превратил липы над нами в гигантские буквы «Г» и, играючи вспарывая, как ножницы бумагу, железные кровли, составляя дьявольский пасьянс из сорванных с крыш листов шифера, натягивая до визга струны проводов на столбах, с бешенством обрушился, обламывая старые деревья и ветхие хибары, на город. Деревянные створки ворот на улицу с игрушечной легкостью распахнулись и в свистящем сквозняке, в облаке пыли и палой листвы, гномом из-под земли, нарисовалась согбенная, с палочкой в руках, знакомая фигурка старца Нектария.

— Батюшка, вас-то каким ветром сюда занесло! Вас же могло убить этими проклятыми воротами! — с непонятной радостью кинулся я к старцу, едва не обнимая его на ходу.

— В подвал! — нетерпеливо вскричал старец, машинально крестя меня и всем своим видом показывая, что ему не до моих щенячьих восторгов. — Хотя уже поздно! Видно, я опоздал... Тайна дома раскрыта!.. Но я опоздал, Господи! — причитал он, бодро сменяя к дому. Мы с Мишей последовали за ним.

Внезапно с сочным, мягким звуком, нежно-эластично расщепилась (подраненная взрывом) в макушке одна из лип, растущих у крыльца, и часть кроны, с шумом и треском массивно рухнула листьями вниз перед нами, непроходимо заблокировав входную дверь. Старец замер перед желтой завесой поломанных веток, растерянно перекрестился:

— Как знамение, видимо, остановить что-то человек уже бессилён!

Мы бросились с Мишей оттаскивать поверженное дерево. Но сделать это было не так-то просто, увесистой, труднодвигаемой оказалась отломившаяся часть макушки, к тому же она намертво зацепилась сучьями о железную перекладину турника между липами. Миша сходил к машине, принес охотничий топорик... Минут сорок—пятьдесят, не меньше, потели мы над неожиданным завалом. Старец все это время подавленно молчал, с самым сокрушенным видом ворошил палочкой опавшие листья.

И вот наконец-то крыльцо снова свободно, дальше коридор, как всегда полуприкрытая дверь в подвал под лестницей, тесные каменные плахи вниз, на площадке с правой стороны выключатель... Но в

подвале уже горел свет. В левой стене, в сторону Заречья, к которой я так и не подобрался с простукиванием днем, на массивных железных петлях со свежей, жирной смазкой висел отворенным огромный камень. Рядом темнела черным зевом высокая, почти в рост человека, со сводчатым входом нора. Миша выхватил пистолет и первым подскочил к лазу.

— Ушел, совсем недавно ушел! — выкрикнул он, опасливо заглядывая в затхлую темноту подземного хода. — Теперь ясно, зачем он тебя обхаживал и что это было за восстановление часовни. Тюфяк! — бросил он мне презрительно. — Не мог проследить, чем у тебя тут в подвале занимаются!.. Но как он проскочил незамеченным мимо нас?

— Через терраску, — я почему-то чувствовал себя виноватым, — они пробили из дома отдельный выход.

— Все продумали, стервецы! Но он не мог далеко уйти... Куда он мог рвануть? Думай! — грубо рявкнул на меня Миша и сам себе нервически ответил: — Скорее всего к реке. Послушай, да там у тебя лодка! — В два прыжка он преодолел ступени из подвала и прогрохотал по коридору на улицу.

— Государев человек... — кивнул ему вслед старец. — А вы не волнуйтесь, вы не злитесь и не бойтесь ничего, трепетная вы душа, — улыбнулся старец и пошутил: — Подземный ход не вы триста пятьдесят лет назад прокопали... А вот ваш приятель, дерзновенный человек, Алексей, кажется, сам над бездной встал и других в бездну тянет... Я хотел, как и брата его, остановить, не успел... Зачерниленную записку о подземном ходе между домом и часовней в лесу, в той книге, что дали мне вы, в реставрационном центре в Москве только сегодня к обеду расшифровали... Подгонял шофера, но не успел...

— Да что же вы не позвонили, не сообщили... — запнулся я, — ведь можно было все предотвратить!

— Вот видите, и вы не договорили эту сакраментальную фразу про «куда следует», — старец испытующе посмотрел на меня и внезапно заговорил, словно читая по бумаге: — Представьте себе, вы стоите где-нибудь на Невском и случайно слышите разговор, что адская машина заложена в Зимнем и скоро сработает. Пойдете вы доносить? Нет! Вот то-то и оно! И я не пойду! — Он остро цапнул меня взглядом.

— Может быть, это ложные представления о нравственности, чести и достоинстве? И классик ошибался?! — вдруг заколотило меня. — Если бы во времена Достоевского люди начали сообщать о тех же бомбистах «куда следует», может быть, не было бы этой дикой революции, Гражданской войны, миллионов загубленных, власовцев, в конце концов? Не из-за ложного ли представления о достоинстве, не из-за горделивого ли отказа преступить минимум, никем не определенную нравственную черту, не за барско-интеллигентскую ли брезгливость к так называемому «доносительству» Россия заплатила такую страшную цену в двадцатом веке?

— Не знаю, не знаю, — задумчиво покачал головой старец, — и во времена Достоевского и сейчас нравственность одна...

— Тогда нам предстоит заплатить еще раз! И, может быть, еще дороже! — нервно вырвалось у меня.

— Успокойтесь, — осторожно прикоснулся старец своей маленькой ладошкой, с прямыми и прозрачными, как восковые свечи, пальцами, к моей груди. — Как сильно бьется ваше сердце... берегите себя. Знаете, — сказал он неожиданно, — я убежден, Россия никогда не умрет, потому что в ней всегда будут жить те, кто никогда, ни за какие медовые коврижки, не побегут сообщать «куда следует», зная, что в Зимнем заложена бомба и что она сработает.

— Понимаю, нам дано улавливать тончайшие оттенки звучания струн духовных, — взялся неожиданно иронизировать я, — особым нравственным чутьем соприкосаться с истиной небесной, не поддаваться дьявольской игре по переливанию добра во зло и наоборот, мы несем в себе — и этим сильны и спасаемы — не размываемое веками, кристально-чистое представление, что правильно и неправильно с высоты высших первоначальных смыслов.

— Вы сказали замечательные слова, — проникновенно-грустно посмотрел на меня старец, — действительно, нашему народу свойственно обостренное нравственное чутье чистого и нечистого... Что дано, то дано, без всякой идеализации и чувства какого-либо превосходства над другими.

— Вот именно, без идеализации, — продолжал я фрондировать, словно сбившись с такта, — три с половиной века назад по этому подземному ходу уводили детей от смерти, а сегодня, возможно, и на смерть детей, в обратную сторону потащили взрывчатку... Где же оно, это наше пресловутое, нравственное чутье?

— Ну, зачем вы так огрубляете, упрямствуете, — с мягким укором сказал старец, — и тогда, и сейчас за всей этой историей с подземным ходом стояла и стоит борьба с государством. А это уже другое, это не нравственная категория, скорее безнравственная... Ведь на ту гарь три с половиной века назад привели и детей, разве это нравственно? А на сегодняшнюю старший брат увлек младшего, чистую, почти детскую душу... Духовное совращение и погубление невинных — это только то, что лежит на поверхности прегрешений иступленной воли религиозных фанатиков и политических радикалов. Поэтому их, если так можно сказать, деятельность ничего общего с нравственностью не имеет.

— И все-таки, — не унимался я, — своего рода сокрытие, недонесение на тех, кто совершает преступные, безнравственные поступки, по-вашему выходит, нравственно? Так получается?

Старец сокрушенно развел руками:

— Не так... не соверши грех внутри себя, останься чистым, и вокруг тебя будет чисто... Люди, которые живут по самым высоким, неподкупным нрав-

ственным принципам составляют духовную крепь нации, народа, ну, а те, кто может и даже считает, что должен при необходимости сообщать «куда следует», выполняют функцию физической защиты этноса и образованного этим этносом государства. Одно без другого существовать не может. Как свет и тень, как плюс и минус, как лед и пламень, как вы и ваш сокурсник Миша... — с тихой ласковостью посмотрел на меня старец. — А вот и он спешит...

Миша стремительно вернулся, как и уходил, прыгая уже через ступеньки вниз, по пояс мокрый, перепачканный тиной, грязью и речным песком.

— Не нагнал! — выдохнул он, присаживаясь на оставленный рабочими верстачок и выжимая на себе штанины, — пришлось по воде спрямлять, чуть не вплавь... но я уже созвонился, вниз по реке расставлены полицейские патрули. Далеко не уйдет.

— А почему ты решил, что он взял по течению? — не скрывая насмешки, спросил я.

Миша недоуменно воззрился на меня.

— Физически он очень сильный и с нестандартной кумекалкой, он легко мог пойти и против течения, тем более что у Чугунного моста, километрах в полутора вверх, все поезда притормаживают... Так что Леха, наверное, уже далеко, — признаюсь, с удовольствием оттапывался я на Мише.

— А ты, я смотрю, чуть ли не рад! — злобно зыркнул на меня, отрываясь от мокрых штанин, Миша, — что ты мне раньше ничего об этом не сказал?!

— Извините, молодые люди, у вас еще будет время потягаться, — улыбочиво вмешался старец. — Вы, — обратился он к Мише, — расскажите, что случилось там... за лесом? Вы, верно, знаете уже кое-что?

Миша, прищурившись, смерил меня несколько раз ядовитым взглядом и для остротки поиграл желваками.

— Нас не познакомили. — Он назвал себя.

— Иеромонах Нектарий, — отвесил светский полупоклон старец.

— По самым первым, до конца еще не проверенным данным, они рванули, навскидку, сотню-другую килограммов гексогена на месте этой самой часовни... Взрывчатку, видимо, таскали через подземный ход отсюда. К счастью, до пусковой шахты не добрались... Что-то у них не срослось, кто-то перекусил провода от подрывмашинки... Начато следствие, — тщательно подбирая слова, проговорил Миша.

Мы со старцем молча внимали, не поднимая глаз.

— Судя по тому, что они некоторое время профессионально держали оборону, этот Мальков был с подготовленными боевиками, — продолжал Миша уже несколько напыщенно, словно на пресс-конференции, — по перебежкам их зафиксировали всего четверо... командир части, полковник Шатров, в боестолкновении замечен не был, видимо, действительно был взят в заложники... Это пока все, что известно, надеюсь, вы понимаете, что все, что я сказал, не подлежит разглашению.

В прозрачных, уже по-осеннему звонких сумерках, перед домами группами собирались люди и неразборчивым гомоном делились, что у кого сорвано и разбито. Внезапно разом погасли уличные фонари и свет в окнах.

— Час от часу не легче, — сказал Миша и отвел меня в сторону. — Кирилл, — заговорил он вполголоса доверительно, — дела закручиваются серьезные, очень серьезные. Я срочно уезжаю в Москву, взять тебя с собой при таких обстоятельствах не могу, извини. К тебе, видимо, придут. Никаких лишних слов, никаких эмоций. Тверди одно: подрядил Малькова на ремонт дома, тот попросил как журналиста распиарить часовню, больше ничего не знаешь...

Миша подошел к старцу попрощаться и предложил подбросить того до монастыря. Старец внимательно посмотрел на Мишу, как мне показалось, усмехнулся и, не жеманясь, принял предложение. Я остался один в быстро сжимающемся пространстве двора темноте, с неясными мыслями и тревожными чувствами под грустное, не предвещавшее ничего хорошего, шевеление сухих листьев на деревьях...

Я почти на ощупь убрался на столе под липами, оставил только бутылки с недопитым алкоголем, все остальное сбросил, не разбираясь, в большой полиэтиленовый мешок и вынес в мусорный контейнер на улице.

Мимо пробирались по колдобинам и ямам, поругиваясь, двое.

— Ребята, не слышали, что у нас со светом происходит? — обратился я к ним.

— Ты че, мужик, не видел, как весь город пригнуло, — отвечал один с характерным подкашливанием заматерелого курильщика, — на центральной подстанции трансформатор накрылся. Теперь пока починят...

— А что там за лесом рвануло? Что говорят?

— А хрен его знает, — отозвался тот же голос, — говорят, какие-то боевики на воинскую часть напали, ракету подорвали. Выброс, говорят, был, ядерная головка раскололась.

— Да не ври ты, если бы что, ты бы уже давно очурился, — решительно оборвал его напарник.

— А че мне врать, че врать?! — огрызнулся прокуренный. — У Михи с Поповой горы счетчик зашкаливает, а он в МЧС работает.

— Ты сам-то видел, пургомет? — урезонил его приятель.

— Че, мне видеть! — заерепенился с прокуреным голосом. — Галька, над нами живет, видела... Она с Михой гуляет. Он ей показывал...

— Знаем, чего он ей показывал...

...Город в крошечной темноте боязливо отходил ко сну. Изредка в окнах окрестных домов привидениями блуждали размытые огоньки фонариков и свечей да периодически кроили темное небо, словно фантастическими яркими ножницами, переkreщающиеся столбы света от автомобильных фар.

Я стал вспоминать, где у меня на всякий случай хранится фонарик. Вспомнил и нашел его со всяким хламом в верхнем ящике кухонного стола. Там же наткнулся на внушительный амбарный замок с готовым, вставленным в проржавевшую скважину ключом, и сразу понял, зачем он мне попался на глаза и куда его приладить. Спустился вниз и, подсвечивая фонариком, закрыл на него дверь в подвал. Кажется, он тут висел всегда. Тщательно запер на все крючки крыльцо. По свежим деревянным ступенькам из коридора поднялся на новую террасу. На ней мечтал поставить просторный диван, плетеную мебель с чайным столиком, большой письменный стол и сидеть, почитывать, пописывать, наслаждаясь красотами и размахом наших далей неоглядных.

Не без некоторого опасения, признаюсь, ступил я в просторное и пока еще пустое пространство террасы. Я понимал, кто мог быть с Лехой там, в часовне, и кого я за время ремонта достаточно хорошо рассмотрел и запомнил. Они вполне могли быть где-то рядом, а четверых взрослых мужиков моя лодка не выдержала бы. Одно из окон терраски было широко распахнуто. Через него, похоже, и сиганул Леха с подельниками к реке. Я поспешил закрыть оконные створки и закрепить на шпингалеты. Фонарик высветил на подоконнике фасонистую, светлых тонов, с закладывающимися ушками внутрь, Лехину кепку. «Странно, — повертел я кепку в руках, — с Лехиной головы просто так ничего не падает». Посветил фонариком внутрь кепки, потряс, отвернул ушки. Выпала записка.

«Кирилл, — прыгающими, угловатыми буквами, с сильным наклоном влево писал Леха на вырванной, судя по формату, из небольшого блокнота страничке, — прости, что подставил тебя. Подземный ход в твой дом был обнаружен случайно, когда обследовали фундамент часовни. Работы по ее восстановлению мы хотели использовать как прикрытие для переброски взрывчатки в часть. Ну, а потом это открытие подземного хода удачно легло в общий план. Брат погиб. От этого мне невыносимо тяжело и горько. Я его любил, очень светлый был, золотое сердце, чувствительный человек. Он в последний момент дрогнул. Пытался все отменить, от отчаяния даже стрелял в нас. Бросился перерезать провод к ракетной шахте и перерезал. Тут его и накрыл второй, «запасной» взрыв в часовне. К счастью, я этого не видел. Ручку детонатора мы крутанули уже в подземном ходе. Один сообщил эсэмэской оттуда, что брата нашли мертвого, израненного. Трагическая смерть. Получается, погиб в огне. Как и наши далекие с Борисом предки триста с лишним лет назад на том же самом месте. Это знак. Мистика какая-то! Но определенную собственную вину в преждевременной смерти брата мне не замолить, не загладить уже никогда. За все остальное — раскаяния нет. Россия гаснет. Этому надо решительно положить конец. Не мы, так другие это рано или поздно сделают. Возможно, прощай. Алексей Мальков».

10

Утром, где-то около девяти, ко мне неожиданно заглянул Феодосий Павлович. Судя по воспаленно-блуждающему взору его покрасневших глаз, спал он очень мало или совсем не спал в эту ночь, но старался держаться молодцом, был тщательно выбрит, в свежей рубашке и при галстуке, что бывало с ним, когда он собирался по какому-либо торжественному поводу выйти на люди. С порога он, с трудом сохраняя хладнокровие, но внутренне весь трепеща, каким-то излишне деловым тоном объявил, что везде паника. Кто-то пустил слух, что взорвалась ядерная боеголовка, и все, кто может, драпают из Свободярска, а кто не может, толпами валят на площадь с требованиями официального объяснения, что происходит в городе. «Это может обернуться черт знает чем!» — нервно, неприятно трещал он переплетенными пальцами рук, развинчиваясь на глазах и все оживленнее разглагольствуя, что он знает радикальные настроения части народа, что всем все надоело, что новые стенки разины и емельки пугачевы давно уже ждут своего часа. Мне с трудом удалось усадить разошедшегося не в меру старика за стол и напоить кофе.

— Прежде всего, — сказал я как можно тверже Феодосию Павловичу, — надо немедленно остановить митинг, иначе вы можете оказаться с канистрой бензина на пожаре.

— Да, правильно, я тоже об этом первым делом подумал. Но как это сделать? — растерянно-умильно глянул на меня Феодосий Павлович. — Телефон не работает, а я всех наших вчера, когда администрация запретила, полдня настраивал на самые решительные действия. Может, оповестить народ по городскому радио? — задался он вдруг вопросом, идиотически широко открыв рот, и сам себе ответил: — Да какое тут к черту радио — электричества нет, суббота, времени совсем ничего... Кого смогу — сам обегу, а там на митинге все надо объявить, остановить! — решительно поднялся он из-за стола.

Поколебавшись, я все же показал Феодосию Павловичу записку Лехи Малькова.

— Мерзкий фармазон, все-таки воспитал из племянной бомбистов! — гневно вскинулся Феодосий Павлович, прочитав записку. — Это я про дядю Мальковых, — ответил Феодосий Павлович на мой вопросительный взгляд. — Эти Шатровы всегда рыли под государство, один из их предков входил даже в боевую организацию эсеров. Да, да, я находил свидетельства в разных источниках! Тут сопротивление государству наследственное, генное, как и среди многих старообрядцев. Я Леше не раз об этом говорил, потому он и не любил меня. А записку сожги, вы с Мальковым были только школьные приятели, и не более того! — Похоже, ясность сознания возвращалась к моему старому другу и наставнику. Записка оставила на чайном блюде маленькую рифленую горку пепла.

Мы вместе вышли из дома. Феодосий Павлович снова пришел в возбужденное состояние и ходко рыскал переулками к площади, «на перехват колонн!», как он кричал, оборачиваясь и поторапливая меня, поспешавшего сзади. У памятника Ленину мы расстались. Старик с криками: «Остановить! Остановить все!» — горячо кинулся к какому-то знакомому, видимо, из его шарашки «Ренессанс», я взобрался на пьедестал к каменным ногам великого командора оценить ситуацию сверху. Круглые часы на бледно-желтом фасаде районной почты напротив показывали без четверти десять.

Давненько, наверное со времен тучных ноябрьских и первомайских советских сатурналий, центральная, она же единственная, площадь Свободярска не была так оживленна и многочисленна. Тысяч десять, не меньше (оперативники потом насчитали пять) свободяржцев густо заполнили галдящими головами пространство невеликой нашей «вечевой» площади. Только теперь вместо пышных праздничных транспарантов и бесконечного кумача в руках свободяржцев были развернуты скромные бумажные плакатики размером в страничку из школьной тетради. День задавался славный, с хрупкой хрустальной прозрачностью, блестящий. Солнце начало пригревать, раздражать сбившихся в огромную, и без того разогретую беспокойным перемещением, массу тепло одетых с утра горожан. «Почему нас не эвакуируют?», «Нас бросили здесь умирать!», «Скажите правду, чинодралы!», «Мы не Хиросима и Нагасаки!» — тянули вверх плакатики с нарастающим, недовольным ропотом свободяржцев, напряженно таращась в сторону районной администрации.

Ждали выхода к народу Крошкина. Крошкин, однако, не спешил на Красное крыльцо. Внезапно бледно засветилась лампочка над входом в администрацию, желтоватыми фитильками загорелись уличные фонари. И на ступеньках главного подъезда города с мегафоном в руках, приодетый, как на пикник, в джинсах и белой спортивной куртке, в окружении районного синклита (мелькнуло круглое, в очечках, напуганное лицо Калеватова) появился Крошкин.

— Дорогие свободяржцы! Товарищи! Вот и электричество наладили! — шмелем на цветке загудел в мегафон Крошкин. — Жизнь входит в нормальную колею! Мною уже дано распоряжение чинить крыши и бесплатно вставлять стекла. К понедельнику все будет исправлено, совместными усилиями стихийное бедствие будет преодолено!

— Стихийное бедствие? — насмешливая рябь взъерошила площадь. — А счетчики зашкаливают!

— Какие счетчики? — наступательно зарокотал мегафон. — Это провокация! Я с вами, городу ничто не угрожает. Случился неудачный планово-учебный пуск ракеты... безо всяких там боеголовок. Это я вам ответственно заявляю. Правоохранительные органы

выявят провокаторов, распускающих лживые, панические слухи, и строго, будьте уверены, накажут!

— Сам-то ночью семью со всем барахлом на трех машинах в Москву отправил! А мы здесь подыхай?! — выкрикнул кто-то гневно из толпы.

— И снова ложь и провокация! — бровью не повел Крошкин.

— Это ты ложь и провокация, — не унимался кто-то расхопившийся в толпе, — я сам там был неподалеку, все заснял, фотки есть! И вообще, сколько у тебя квартир в Москве и за границей?

— Ворюга! — вдруг лохмато и угрюмо прокатилось по толпе, неожиданно тяжело колыхнувшейся на полшага к подъезду администрации. — Расстрелять тебя мало!

Крошкин врос в землю и, поблуднев, опустил мегафон. Ему бы уйти в тот момент от греха куда подальше, но он стоял словно вкопанный, переживая жертвенные секунды полного обмирания.

— От лица общественности мы объявляем вам импичмент! — раздалось над площадью. С чугунных стоп вождя я увидел, как стройными железными фалангами толпу взрезали энкаошники Феодосия Павловича. Ровно в десять, как и намечали. Сам стратег метался между колоннами демонстрантов, с развевающимися седенькими волосами из-под берета, отчаянно жестикулируя и, видимо, пытаясь развернуть свою армию вспять. Но у масс уже, судя по всему, появился новый вождь и кумир. Это был учитель истории одной из наших школ, который с самым решительным, иступленным выражением тонкого, нервно-подвижного лица истерично отдавал команды по установке в центре площади небольшой трибуны и звукоусиливающей техники. Еще мгновение — и над головами собравшихся с хлопанием (откуда-то вдруг и ветерок потянул) развернулись тщательно прописанные, широкие паруса транспарантов. Ликуй октябрь семнадцатого! «Где новые фабрики и заводы?», «Когда снова начнем пахать землю?», «Даешь району детсады и школы!», «Ударим по рукам грязнохватов!», «Чиновников-казнокрадов — в тюрьму!», «Долой самодержавие бюрократии!», «Вся власть народу!» — окрасилась свежим кумачом площадь.

— Мы требуем не только вашей отставки, мы требуем справедливого суда над вами и вашей камарильей, доведшие город и район до полного обнищания и разорения! — ярился с трибуны историк, вооруженный микрофоном и стократно усиливающими его задорный голосок мощными динамиками.

— Судить ворюг! — тысячеголосым, мрачным рокотом отзывалась толпа.

Крошкин медленно и опасно, как пистолет к виску, снова поднял мегафон к лицу.

— Товарищи! Граждане! — Голос его потерял начальственную басовитость, стал тонким и заискивающим. — Я готов поддержать развернувшуюся дискуссию, пусть даже и на площади. Источник власти у нас народ...

— О народе вспомнил! — заголосили в толпе. — А ты знаешь, что у народа зарплата копейки, что детей в детский сад не устроишь, что у ветеранов в домах потолки обваливаются, крысы по кроватям бегают, и, чтобы с голоду не сдохнуть, мы на работу в столицу мотаемся, полжизни в вонючих электричках, в четыре встаем, в девять приезжаем, вы превратили нас в быдло, а сами только хапаете и карманы набиваете, ряшки ненасытные!

— Теперь вы слышите глас народа, а глас народа — глас Божий! И вы за все ответите! — так и взвился на трибунке учитель истории. — За время вашего бесконечно-ненасытного правления вы превратили наш край в гнездо коррупции и разврата, где правят бал казнокрадство, взятка и подкуп, где разорены и разворованы все заводы, где в деревнях пашни заросли лесом, где закрываются больницы, роддома, школы, где вместо дорог, как во времена Гоголя, остались только направления, где половина населения безработные, где самые богатые пенсионеры... И это в то время, когда узкая группа людей, во главе с вами, жирует на ворованные, бюджетные деньги, строят особняки, покупают недвижимость в столицах и за рубежом, купаются в роскоши! Скажите, какого еще арабского скакуна вы подарите своему внуку на его очередной день рождения?! Может, в золоте отольете?

Народ рукоплескал оратору, народ заходил в восторге, народ ликовал.

С высоты ленинского пьедестала я увидел, как попытался овладеть трибункой мятущийся Феодосий Павлович, и, надо отдать ему должное, едва не преуспел в этом, даже на время с силой вырвал микрофон у распаленного дерзкими речами учительши и прокричал, что это не митинг, а подстрекательство к бунту, разжигание низменных страстей толпы, что радикализм всегда губил Россию, но, схваченный крепко чьей-то сильной рукой за воротник — «не мешай людям правду говорить, пустозвон!», был грубо низвергнут с трибуны и за галстук, намотанный на кулак, с позором, под насмешки и улюлюканье толпы, потащен куда-то за торговые палатки.

Я кинулся было ему на помощь, но тут мое внимание привлекли два странных, заляпанных грязью от колес до самого верха, стареньких, разболтанных «зилка». Машины медленно и осторожно, на малом ходу, приседая на ямах под тяжестью груза, выползли из переулка, вплотную примыкавшего к площади. Аккуратно развернулись задними бортами к толпе. Три ловкие и быстрые фигуры, выпрыгнувшие из кабин, в одной, мне показалось, я узнал Усатого, но только без усов, выставили знаки «Дорожные работы».

«Зилки», натуженно ревя изношенными движками, выбрасывая клубы черного дыма, подняли кузова и, содрогаясь от напряжения, щедро ссыпали под ноги митингующих груды увесистых, обточенных водой, как круглые бомбы, речных голышей. Я услышал, как с характерным звуком зазвенели, подска-

кивая и раскатываясь по асфальту, какие-то металлические заготовки. Так же неброско и спокойно, как и прибыли, грузовики затем снова втянулись в переулочек.

— Вот видите, — нашелся Крошкин, — уже начался ремонт нашей площади. А за годы моего, какого-то там нехорошего правления, как тут изволили выразиться, в городе и районе построены и сданы в эксплуатацию три тысячи метров дорог с твердым асфальтовым покрытием, уложены тысячи метров новых бордюров, заасфальтированы километры тротуаров, приведены в порядок детские игровые площадки...

— Вы издеваетесь над нами! — сардонически захохотал с трибуны учитель. — Три километра асфальта — это, я должен вам заметить, ровно столько от города до вашей трехэтажной дачи под монастырем! А свеженьким бордюриком вы обложили ее по периметру, проложили там и асфальтовые дорожки, оборудовали, не в пример убитым городским, затейливые игровые площадки для внучат. И все за казенный счет, за наш счет — налогоплательщиков! Да вас за такое благоустройство давно пора отправить за казенный счет в казенный дом, благоустраивать солнечный Магадан!

Люди ревели и топали ногами, как буйнопомешанные, несколько чрезмерно экзальтированных особ женского пола начали остервенело визжать и царапать друг друга, мужчины имитировали в сторону администрации выстрелы от плеча.

— Это ложь! Гнусная ложь! — зашелся вдруг на высоких нотах Крошкин. — Дача никогда не принадлежала мне. Моя дочь в Москве занимается бизнесом, она ее и построила, она ей и принадлежит! Я живу, как все, в обыкновенной, еще советской квартире! Сами знаете! А если у меня и есть какие-то упущения, то, как говорится, кто из нас без греха, пусть первый бросит в меня камень!

И камень бросили. Никогда, никогда не говори в грозу: «Разрази меня гром!» Ибо это роковые слова, таинственно вдруг обретающие смертельно-материальную силу... И камень бросили. Из той самой кучи речных голышей, что предусмотрительно оставили на площади старенькие, таинственные «зилки». Небольшой такой, но увесистый камушек, пущенный чьей-то дерзкой и меткой рукой, рассек Крошкину бровь. Крошкин с удивлением мазнул ладонью кровь, на удивление обильно хлынувшую из небольшой ранки, обморочно пошатнулся, сделал шаг вперед, словно споткнувшись, склонил голову перед толпой.

Женщины в первых рядах взвизгнули и бросились врассыпную. В следующее мгновение несколько камней с мягким шлепающим звуком пришили Крошкину в плечи и в грудь. Один угодил в темя. Крошкин выпрямился, интуитивно прикрываясь мегафоном, свободной рукой схватился за голову... Еще через миг он был сбит с ног каменным ливнем. Толпа, зверем завыв, качнулась в сторону поверженного.

... Боюсь, я не все успел зафиксировать глазом и запомнить, что было дальше. Я же не видекамера. И вряд ли когда мне удастся посмотреть оперативную видеосъемку. Если она, конечно, в чем я сильно сомневаюсь, велась... А вот, что запомнил точно, об этом расскажу. Запомнил, как в короткую паузу, перед тем как площадь опрокинулась «волной-убийцей» на Крошкина, перед толпой выросла знакомая, вызвавшая вдруг острую жалость, тщедушная фигурка старца Нектария. Он-то, подумалось, с какого перепуга здесь оказался! Старец попытался с крестом в руках образумить обезумевшую толпу, что-то горячо втолковывал, осеняя людей, как молнией, сияющим на солнце крестом, и толпа как бы замерла, замялась в короткой нерешительности перед отважным пастырем, но тут на трибунку взметнулся решительного вида человек, по фигуре очень знакомый, в камуфляжном одеянии, в низко надвинутой на лоб защитного цвета фиделькастровке и, властно отобрав микрофон из рук потрясенного расправой с Крошкиным учителя истории, — голосом Лехи Малькова прокричал: «Долой прогнившую власть! Долой разорителей России!» И старец был смят, отброшен бумажным корабликом в сторону, напоенным агрессией и ненавистью потоком выжвирившихся людей, которые с камнями и арматурой в руках (вот что, оказывается, сыпалось и звенело вместе с камушками из «зилков») бросились, безжалостно растапывая тело несчастного Крошкина, громить здание районной администрации.

Жидкий полицейский наряд вместе с крошкинской челядью сыпанул юркими тараканами по сторонам. В памяти осталось, как бежал по зеленым газонам и желтым осенним цветам вдоль фасада администрации, пронзительно визжа, Калеватов, охаживаемый с остервенением железными прутьями двумя бандитского вида молодчиками... Сохранила память и удивительно знакомый белый рафик, плавно подкативший к площади со стороны вокзала, из которого было стремительно выгружено тройкой молодцеватых (снова показавшихся знакомыми), с военной выправкой людей, несколько ящиков с темно-зелеными бутылками. «Коктейли Молотова привезли! Теперь есть чем угостить мордатых!» — с веселой разухабистостью и радостным гомоном встретили эту новость на площади.

И когда с лязгом и грохотом тяжело раздвинулись железные ворота внутреннего двора полицейского участка, что приткнулся невзрачным, двухэтажным зданием почти вплотную к районной администрации и оттуда стали бодро выскакивать, выстраиваясь цепью, люди без спецэкипировки, в простой форме и с короткоствольными автоматами, а затем без предупреждения дали очередь поверх голов, толпа, в страхе присев, потом неумоимо взвизгнув, ответила уже не только камнями, но и оказавшимися под рукой бутылками с зажигательной смесью.

Несколько полицейских подпрыгивающими факелами, с воплями и проклятиями, бросились назад

за ворота, где, катаясь по земле, сбивали на себе пламя; другие в панике, что могут оказаться заживо сожженными и забитыми камнями, открыли беспорядочный огонь на поражение.

В животном, предсмертном ужасе толпа тысячами глоток исторгнула леденящий душу вопль отчаяния (мне показалось, что зашевелился каменный истукан надо мной, словно дрогнуло и его каменное сердце) и бросилась с площади тяжелой лавой, давя и сминая друг друга. И тут сухо зашелкали, выбивая короткие облачка пыли, по асфальту и по стенам участка, метившие в стрелявших полицейских пули невидимого снайпера.

Стреляли, судя по всему, из единственного высотного девятиэтажного жилого дома рядом с площадью. Его построили еще в семидесятые годы для местной партийно-хозяйственной верхушки, за что дом был окрещен в народе «дворянским гнездом». Несколько точных выстрелов откуда-то с верхних этажей коммунистического «дворянского гнезда» заставили полицейских в панике, волоча за собой убитых и раненых, убраться с площади.

Толпа развернулась и с удесятеренной яростью бросилась на своих мучителей. Она дикой, необузданной стихией ворвалась в участок, ломая и круша все на своем пути. Те из полицейских, кто не успел сбежать или спрятаться, были растерзаны на месте. Запылали костры в кабинетах. Из окон на площадь полетели вороха обугленной бумаги и мебель. Тут же без долгих разговоров была решительно вскрыта ружейная комната. Несколько десятков автоматов, гранатометы, пара ручных пулеметов, цинки с патронами были переданы в руки бойцов, из ничего возникшего, «батальона самообороны восставшего народа». И тогда на площади, перед странно притихшим народом, явился с самым суровым и грозным видом, с решительно выдвинутой вперед неандертальской челюстью Леха Мальков. На широком офицерском ремне у него болтались несколько гранат и «стечкин» в кобуре. В камуфляже, в сурово надвинутой на лоб защитного цвета фиделькастровке, он был вылитый команданте, правда, пока еще без бороды. Сзади маячили с самым решительным видом, готовые на все, два нукера (в них я узнал моих строителей) с автоматами. Лехе передали мегафон.

— Братя! — лязнул челюстью Леха. — Нас могут раздать здесь за несколько часов, если мы не окажем достойного сопротивления и если нас не поддержит Москва. Администрация города в наших руках, окружим ее надежным кольцом баррикад! А в Москве уже высадилось несколько электричек наших земляков, еще утром эвакуировавшихся из города. Они продвигаются к Красной площади, к ним присоединяются тысячи наших единомышленников в столице. Я уже обратился через Интернет поддержать наше восстание во всей России! Десятки городов поднимаются против зажавшихся, толстомордых воров, до нитки разоривших страну и народ! Россияне достойны лучшей участи! Власть народу!

На баррикадах отстоим свое право быть хозяевами в родной стране! Слава России!

— А что там с радиацией? Есть она или нет? — крикнул кто-то памятный из толпы.

— Успокойтесь, друзья! — осклабился Леха. — Никакой радиации не было и нет. Был направленный взрыв, — он с нескрываемым самолюбованием и шегольством выделил голосом последние слова, — взрыв всего лишь какой-нибудь тонны гексогена.

Толпа, уже мало задумываясь над происходящим, с разухабистым балагурством и подмигиванием «Знай наших!» встретила сомнительное Лехино признание.

Мне казалось, это был какой-то дикий, нелепый сон. «Ущипни себя и проснись!» Несколько пуль, точно выпущенных снайпером (был он явно с воображением) по кепке вождя, зажатой в каменной деснице над моей головой, вернули мне ощущение, что все происходит в реальности. Оставшись без кепки в руке, великий теоретик и практик революционного движения уже не просто куда-то звал, в какие-то светлые дали, а смело атаковал и взрывал окружающее пространство своим, освобожденным выстрелами, железным кулаком. Старые символы на новый лад! Однако затейник был этот снайпер. Он и мне давал понять, вдруг понял я, что держит и меня на мушке, и в любой момент может скорректировать и мое поведение. В радикально изменившихся условиях лишним свидетелям тут было не место. Я тихо сполз с чугунных ног вождя на грешную землю, осторожно миновал чем-то странно ошастливленные толпы, с воодушевлением бревноносцев первых коммунистических субботников воздвигающих из всякого подручного хлама хилые баррикады вокруг своробоярского «Белого дома», и кривыми палаточными улочками торгового капища в обход страшного места, со странным облегчением и, содрогаясь от увиденного, бросился со всех ног домой.

К площади, включив мигалки и отчаянно сигнали, съезжались за первой смертельной жатвой «восставшего народа» машины «скорой помощи»...

Круглые часы на бледно-желтом фасаде почты показывали полдень. Всего лишь полдень. Всего лишь два часа было отмерено от чего-то... И все — иное. Как стремительно-тяжеловесно бывает время! С какой всеокрушающей силой оно таинственно преображает до неузнаваемости все вокруг! Как легко захватывает оно человека, как безжалостно давит и увлекает в бездну!

Обычно шумно-горланящее, перекатывающееся людскими потоками, грязно-захлавленное пространство торгового райка было непривычно пустынным и чисто прибранным. Ряды ларьков, палаток, магазинчиков, как бронепоезда, укутались в тяжелые железные листы. Везде были решетки и на массивных цепях амбарные замки. Новоявленное купечество, в страхе разбежавшись, ждало погромов. Но революционная стихия еще не перелилась через край своей колыбели. Пока она плескалась и негодо-

вала только на площади. Мои шаги, единственного здесь прохожего, гулко отдавались в закованных железах лабиринтах. И странно было вдруг увидеть на скамейке рядом с памятным трактиром «У Вадика» одинокую фигуру человека.

Феодосий Павлович сидел и, часто вытирая платком глаза, тихо поскуливая, плакал. Виноват, я тогда смалодушничал и не подошел к старику. Мне не хотелось ни с кем видаться, ни с кем объясняться, мне хотелось единственного — спрятаться в свою норку, забыться, раствориться. Я прошмыгнул мимо Феодосия Павловича и, постыдно крадучись между ларьками, незаметно ушел. Я, помню, был даже в чем-то разозлен на старика, видимо, за его болтовню, частично приведшую к такому...

В величайшем раздражении, можно сказать, в каком-то нервном кипении вбежал я к себе во двор. Но видаться и объясняться мне, похоже, в тот день было предопределено. Как-то все сходило в одну точку. За столиком под липами меня ждал... Нет, пока еще не человек в форме. Меня ждал человек в рясе... отец Нектарий. Обычная приветливость и ласковость во взгляде не оставили его и сейчас. Но читалась в глазах и какая-то печаль, надорванность. Выглядел старец уставшим и как-то разом рухнувшим и немощным. Но по-прежнему пытливо и остро он считывал и у меня что-то новое с лица. Вглядевшись в меня, он жалостливо сморщился, приподнялся со скамейки и почти рефлекторно поднял правую руку на уровень плеча. «Благословите, батюшка!» — вдруг вырвалось у меня, и я, подчиняясь какому-то новому, сильному, прежде не испытываемому чувству, в пояс поклонился старцу. «Бог благословит!» — с особым, радостным участием ответил старец, горячо перекрестив меня. Я припал к его руке.

Никогда до этого, должен к своему стыду признаться, я, дитя атеистического века, не то что не испрашивал благословения у священнослужителя, но мне даже в голову не приходило приблизиться к священнику с желанием исповедаться, причаститься Святых Тайн. Как открыть душу незнакомому, чужому, тоже грешному человеку? Нет, этого я никогда не понимал и не принимал. А уж лобызать руку у мужчины вызывало у меня, прости, Господи, просто безглагольное чувство. Хотя я, благодаря стараниям одной дальней родственницы со стороны матери, очень набожной старушки, в детстве был тайно крещен. А книги, как я уже рассказывал, обнаруженные мной в подростковом возрасте в подвале нашего дома — Евангелие, Четьи-Минеи, Жития святых, всегда вызывали во мне какой-то особый душевный трепет, полный благоговения и отрады. Но, как говорят сейчас, воцерковленным я не стал. И вдруг вот это: «Благословите, батюшка!» — и искреннее, я бы даже сказал, страстное, какое-то из глубины сердца прорвавшееся желание благодарно поцеловать руку благословившего тебя священника. Впрочем, буду уж честен до конца, когда я опомнился, я смутился. Мне кажется, даже покраснел. Что не осталось не за-

меченным старцем. Он только понимающе-ласково посмотрел и как-то по-отцовски потрепал меня, когда я оторвался от его руки, по волосам.

— Я и сам не знаю, что будет теперь, — неожиданно горько признался старец, — душа моя тоже в страхе и трепете пребывает... Новой великой смуты боюсь... Россия ее уже не переживет... Если не появится новый царь, который властной, царской рукой... Но, боюсь, время царей прошло... боюсь, еще один, страшный, последний распад грядет... Из чего родилась великая Русь, в то и вернется... — отрывистыми недоговоренностями заговорил он. — Может, и не прав был великий наш душевед и писатель с его — «и я не пойду...»? — задался вдруг странным вопросом старец. — Ведь я же понял тогда его, военного... Бориса, когда он ко мне приходил, во всем понял, он почти прямо мне все сказал... А потом, этот подземный ход, мне разом все открылось... но я никуда не пошел... И вот, сколько крови пролилось и сколько еще может пролиться!

Видимо, в моем взгляде, перехваченном старцем, было столько недоумения и растерянности, что старец, словно в испуге, зажмурил глаза.

— Не смотрите на меня так, — еле слышно сказал он, разлепляя веки, — извините... я, как и все смертные, тоже впадаю в грех отчаяния и сомнений... особенно после того, что случилось сегодня. Ведь, кажется, можно было все предотвратить... но как предотвратить то, что по делам нашим приводится в движение уже не человеческой рукой? — как-то виновато посмотрел он на меня.

И в эту минуту в кармане моей куртки, пойманной рыбкой в сетях, задергался, сто лет молчавший, мобильник. Звонил Миша Васильев. «Как всегда, очень вовремя!» — чертыхнулся я про себя, беседовать о чем-то с Мишей в такой час у меня не было ни малейшего желания. Но я все-таки ответил на звонок.

— Ну, слава богу, жив! — мрачно изрек Миша вместо приветствия. — Много народу покروшили в вашем древнем кровопийственном граде? Что там у вас происходит?

— У нас погром кровавый, — выдавил я, — а у вас?

— Русский бунт, бессмысленный и беспощадный? — не стал напрягаться в особой изобретательности Миша, пропуская мимо ушей мой вопрос.

— Что-то похожее на это... Здесь говорят, до Москвы докатилось? — снова спросил я.

— Да как тебе сказать, — на этот раз осторожно ответил Миша, — тут какие-то крикуны на Красную площадь лезут... но их уже начали оттеснять. А у вас там что, действительно оружие в ментовке захватили?

— Действительно, — подтвердил я, — появился вооруженный отряд какой-то революционной самообороны, баррикады возводят.

— Однако дела... И снайперы у вас постреливают? — продолжал методично вытягивать информацию Миша.

— Постреливают, — односложно отвечал я.

Генеральный**директор***Олег Болдырев***Главный бухгалтер***Людмила Дьячкова***Художественный****редактор***Татьяна Погудина***Цветоделение****и компьютерная****верстка***Александр Муравенко***Заведующая
распространением***Ирина Бродянская*

Отпечатано

в АО «Красная Звезда»

123007, Россия, Москва,

Хорошёвское шоссе, 38

тел. +7(499) 762-63-02,

факс +7(495) 941-40-66

e-mail: kz@redstar.ru,

www.redstarprint.ru

Тираж 2 000 экз.

Уч.-изд. л. 10,0.

Заказ № 4166-2017

Адрес редакции:*Россия,**107078, Москва,**Новая Басманная, д. 19***Телефоны***редакции:**8(499) 261-84-61**отдела распространения:**8(499) 261-95-87***Факс:***8(499) 261-49-29***E-mail:***roman-gazeta-1927@yandex.ru***Сайт:***www.roman-gazeta-1927.ru*

Рукописи не рецензируются

и не возвращаются.

Отклоненные рукописи

сохраняются в течение года.

— Тут с ГУМа сегодня тоже попытались, но их быстро нейтрализовали, — стимулировал мою откровенность своей дозированной откровенностью Миша. — На что только надеются, здесь не Хохляндия, порядок будет наведен быстро. К вам тоже отправлен спецназ, ну, ты понимаешь... Слушай, Кирилл, — неожиданно сказал он как бы между прочим, — а ты не мог бы, ну, как очевидец, с журналистской наблюдательностью, так сказать, набросать своего рода записочку, ну, репортаж, если хочешь... с живыми сценками, именами, если кого запомнил из наиболее активных у вас там, ты же местный, многих, что называется, знаешь в лицо... Гонорар обещаю приличный, — слышно было в трубку, как Миша ухмыльнулся.

Меня так и подбросило:

— Ничего я писать не буду! Мы с тобой об этих делах уже говорили.

— Ну, ладно, чего разошелся, — быстро свернул тему Миша, — и всего-то подружески хотел попросить... — сделал он значительную паузу. — Э-э, черт! — вдруг закричал он. — Они все-таки прорвались по Ильинке на Красную площадь!

Связь оборвалась. Я встретился глазами со старцем.

— Вы правильно ответили... Лучший ответ всегда «да» или «нет», — с каким-то облегчением сказал он. — Хотя государство можно и должно поддерживать, — в вязкой, медленной задумчивости добавил старец, опуская глаза, — для русского человека государство — всегда его последняя надежда и защита, русский человек интуитивно оберегает свое государство, он льнет к нему, как к теплой печке зимой... Но вот власть, олицетворяемая конкретными людьми? Что с ней делать, с этими господами, когда они перестают понимать свой народ? Начинают беззастенчиво грабить, унижать, презирать его... Тут всегда путаница у нас роковая. Начиная борьбу с властью, мы всегда разрушаем государство. После чего смута, резня, запустение... Так с чем борется, когда хватается за вилы, обиженный русский человек — с властью или с государством? Не знаю...

Внезапно мы оба замерли и разом повернули головы в сторону площади, где вдруг звучно ухнули и тугим, коротким эхом плеснулись по разреженным осенним увяданием переулком несколько взрывов и, как по команде, в скороговорчато-пульсирующем захлебе пулеметов вдруг стремительно разгорелась яростная пальба. Бой начался зло и решительно, сцепились там, похоже, насмерть.

— И снова брат на брата! Эх, русская земля! Когда ты установишься?! — воздел руки к небу старец и, встав из-за стола, машинально сделал несколько шагов под дедовские липы, где рухнул на колени, перекрестился в сторону боя и припал в поцелуе к земле.

— Помилуй, спаси и сохрани народ русский, Святая земля и Богородица! — взмолился он.

Повинуясь какому-то сильному, неожиданному чувству, я тоже встал на колени рядом со старцем и тоже поцеловал землю наших общих предков, землю, вопреки всему объединяющую нас, до крови враждующих и непримиримых друг к другу, удерживающую от полного разора, рассеяния и умирания.

Прости и замири нас, родная земля! Ты у нас на всех одна, другой нет и не будет!

2016 г.



«У каждого человека и нации есть своя удивительная и неповторимая судьба, как внутренний выбор. Именно он может формировать или разрушать державу, как совокупность ценностей. Измена или верность, вера или безбожие, жертвенность или безразличие — что это в жизни человека? Судьба Державы — это судьбы великих русских святых, героев, князей, государей и отступников, это поражения и победы русского духа не только прошлого нашей истории, но и в немалой степени современной России... Исторические темы, воплощённые на полотнах Павла Рыженко, могли быть затронуты только современным художником. И понимание уроков нашей истории, во многом определит наше будущее...»

Тихон РЫЖЕНКО

1. Царь Алексей Михайлович (Тишайший). 2001 г.

2. Реквием. Возвращение домой. 2010 г.

3. Святослав. Цимисхий. 2014 г.

4. Преподобный Серафим. 2005 г.



